

О своей исследовательской, переводческой и преподавательской деятельности

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1604>

16 апреля 2013

Собеседник

Автономова Наталия Сергеевна

Ведущий

Пирожкова Софья Владиславовна

Дата записи

Беседа записана 16 апреля 2013 и опубликована 21 февраля 2014.

Введение

Беседа посвящена детству, семье и творческой эволюции. Наталия Сергеевна рассказывает о расставании с серьезным увлечением музыкой и поступлении на филологический факультет МГУ, совместной работе с М.Л. Гаспаровым и поступлении в аспирантуру Института философии АН СССР, знаменовавшем еще одну смену специальности, работе в секторе диалектического материализма под руководством В.А. Лекторского. В 1990-е годы Наталия Сергеевна много преподавала за границей. Вспоминая этот этап жизни, ученый рассказывает о взаимосвязи философов советского и постсоветского времени с западными школами философии и системами высшего образования. Беседа записана в рамках совместной исследовательской программы Института философии и Фонда «Устная история».

Софья Владиславовна Пирожкова: Согласно тому, как у нас проходят встречи, мы начинаем с самого начала вашей жизни, с ваших корней, с вашего детства, с того, что вы хотите сказать об этом периоде.

Наталья Сергеевна Автономова: Отвечать довольно трудно, поскольку что-то сразу приходит в голову, а что-то — и не менее важное — не сразу. Если меня спрашивают про детство, для меня важно, что я до школы жила в Рязани с бабушкой и дедушкой, а родители жили в Москве. Папа учился в Военной академии после войны, мама жила с ним, а я жила с бабушкой и дедушкой, и бабушка для меня с тех пор и навсегда — самый любимый родственник. Так получилось.

Семья была с военными традициями, то есть в роду были профессиональные военные. Дедушка служил в царской, потом в Красной армии и вступил в Красную армию по доброй воле, участвовал в Первой мировой (в том, что потом стало называться Первой мировой) и в Гражданской войне. Бабушка следовала за ним. Когда они только были помолвлены с дедом, она закончила курсы медсестер, стала хирургической сестрой и работала в военном госпитале. А потом уже, когда они с дедушкой обвенчались, она в обозе следовала за ним всю Гражданскую войну. У нее погибли несколько детей — все были девочки, выжил только мой отец, который родился в 1921 году, — Сергей Васильевич Автономов. Он тоже унаследовал военную профессию, хотя хотел быть гражданским инженером, очень любил паровозы, самолеты. Тем не менее окончил военное училище перед самой войной, как ему посоветовали родители, а потом — Военную академию имени Дзержинского, ту самую академию, из-за которой я была без родителей в течение довольно долгого времени. А после он работал всю жизнь в Министерстве обороны, занимался всем тем, что связано с ракетно-артиллерийским делом. Много ездил в командировки, много переживал; безумно переживал — уже в начале постсоветской эпохи — развал армии: не слушал радио, не смотрел телевизор. И умер в семьдесят два года от второго инфаркта. Что мне рассказать еще?..

С.П.: А родителей вы редко видели?

Н.А.: Редко. Родители приезжали, но два раза в год — на Новый год и летом мама приезжала, чтобы жить со мной на даче, а папа приезжал зимой или в какие-то праздники, продукты привозил из Москвы в портфеле. Был такой портфель, кожаный, он назывался сахарный портфельчик (*смеясь*), в нем возили сахар и, наверное, что-то еще. Ну а дальше получалось так, что родители стремились ко мне, а я их не очень тогда знала, пряталась за бабушку, это я тоже помню очень хорошо. А взяли меня в Москву жить с родителями, когда мне нужно было идти в школу, когда мне было уже шесть лет.

” Папе в тот момент дали — было такое понятие «дали» — комнату от работы, в городе Бабушкине, одиннадцатиметровую комнатку в коммунальной квартире. Это было для родителей огромное счастье, потому что до этого они пытались что-то снимать, но отовсюду выгоняли, было нелегко. Так что меня взяли, когда нужно было идти в школу.

С.П.: Это, извините за такое уточнение, 1951-й, 1952-й?..

Н.А.: 1952 год... Что рассказать про дом? Его строили пленные немцы. Адрес я как сейчас помню — Ярославское шоссе, дом 107 Б. Мощный четырехэтажный кирпичный дом, где у нас была эта одиннадцатиметровая комнатка у самого входа в квартиру. В конечном счете в ней жили сначала трое, потом уже пятеро человек. Когда умер дедушка, папа взял свою маму — бабушку, чтобы она жила с нами. Когда родился мой брат, плетеная корзинка, в которую его клали, с трудом умещалась между платяным шкафом и диваном. Брата я выпросила, это я могу сказать с гордостью и с радостью. Я настолько много говорила родителям, что хочу братика или сестричку, что учительница в школе, совершенно замечательная старушка с огромной толстой косой — Валентина Ивановна Савельева (помню как сейчас!), мою маму уговаривала: как же так, Наташа так хочет! Но куда там было заводить детей. И все равно брат появился, и я ужасно рада, потому что брат и был замечательный, и вырос замечательный. Он —

Владимир Сергеевич Автономов — довольно долго был деканом экономического факультета ВШЭ. И вообще, он замечательный во всех смыслах. А когда он должен был появиться, у меня в течение девяти месяцев было занятие — копить деньги.

” Когда мне давали на какую-нибудь детскую радость, я их складывала в копилку, и в конечном счете мне сказали, что на мои деньги (наверное, добавили) было куплено роскошное верблюжье одеяло. Оно, по-моему, еще живо, такое оранжевое. Вот какое это было большое светлое событие.



Российско-французская конференция «Психоанализ и науки о человеке». Москва, 1992 год

С.П.: Какая у вас разница в возрасте с братом?

Н.А.: Девять лет, десять почти. Дедушка не дожид до рождения Володи. Дедушка умер в Солотче — это было очень тяжело, потому что Солотча в моей памяти — очень красивое место, замечательное, с прекрасными соснами, прекрасной природой, советовали им — бабушке и дедушке — меня там держать, меня там и держали каждое лето. Дедушка пошел в город, не знаю, за хлебом, а на обратном пути с ним случился приступ. И он упал, как потом рассказывали, лежал в роскошной дубовой аллее, ведущей в деревню, где мы жили. И кто-то увидевший его решил, что, может быть, он пьяный, но это был инфаркт,

и он потом умер в сельской больничке. Мы его увезли назад, в Рязань.



Это очень давнее и сильное воспоминание. Лежал этот красный гроб, грузовик на ухабах переваливался очень долго, так его везли.

Похоронен он на Лазаревском кладбище в Рязани. Дедушка замечателен был, помимо очень многого — юмора, доброты и всего другого, — тем, что был еще и музыкальный. Он играл на гитаре самоучкой, он играл и на фортепиано самоучкой, хорошо пел и в молодости пел в одной из церквей — Бориса и Глеба в Рязани, пока ему не испортили голос: в период ломки голоса регент хора заставлял его петь.

С.П.: А мама ваша, у нее какое происхождение, корни?

Н.А.: У мамы совсем другое происхождение. Мамин папа умер совсем рано, он был мелким служащим в Москве — Иван Григорьевич Патин, а мамина мама была по происхождению караимка. Ее предки жили на Азовском море, в Бердянске. Ее дед смог в Нижнем Новгороде открыть что-то вроде портновской мастерской или чего-то такого. А дальше легенда гласит следующее: он проигрался в карты и вскоре умер. Бабушка мамы была безумно расстроена и не знала, что делать, и стала сдавать комнату, пускала столоваться людей, которые приезжали на нижегородскую ярмарку. Мама потом мне рассказывала, что рядом был драмтеатр, чуть ли не Любовь Орлова заходила. Так что они жили достаточно сложно. Детей было три девочки. Старшая сестра — Вера, мама (Надя) и Любочка были близнецы, Любочка умерла совсем маленькой. Должна сказать, обе были для меня очень важны — и мама, и ее сестра, которая на три года старше. Мама училась истории в университете в Горьком. Как раньше было принято, ее, хорошего студента-историка, послали на курсы марксизма-ленинизма. Она была очень горда, закончила эти курсы и какое-то время в Рязани пыталась преподавать. Но, в общем, по воспоминаниям, довольно скоро поняла, что не может этот предмет преподавать, что она не в состоянии отвечать разумно на вопросы, которые ей задают студенты. К тому же она стала очень болеть, у нее был тяжелый полиартрит, ее много лечили, посылали на курорты, и она перестала работать. И когда родился брат, она тоже не работала и пошла работать уже не по специальности в журнал «Зарубежная радиоэлектроника» просто младшим редактором, который формулы вписывал. Это было, когда Володя, мой брат, пошел в школу. Вот так вот получилось.

А сестра мамина на три года ее старше — тетя Вера, Вера Ивановна Грознова по мужу, она, напротив, была очень твердым и целеустремленным человеком. Она руководила издательством «Советское радио», которое было очень прогрессивным для своего времени, и я помню историю, о ней говорили где-то в начале 1960-х годов, — об издании книжки Полетаева «Сигнал» по кибернетике, которую тетя Вера не побоялась выпустить. И, в общем, она по жизни так себя вела и до самого конца была мне душевной опорой, очень важной. Она умерла в восемьдесят восемь лет, а мама — в восемьдесят пять, обе в 2008 году, совсем недавно. Еще была одна сестра, двоюродная мамина, тоже ко мне очень хорошо относившаяся. Она стала архитектором очень известным, строила Гребной канал в Крылатском.

С.П.: Очень разносторонние люди в вашей семье.

Н.А.: Да, получается так.

С.П.: А почему у мамы так получилось с историей? Вы сказали, что она не могла отвечать на вопросы.

Н.А.: Так она сама говорила. Ей казалось, что это достаточно такой, липовый предмет. Хотя не все здесь понятно... Она была человек толковый. Сначала хотела пойти на физико-математический или математический факультет вслед за старшей сестрой, потом решила пойти на историю. Я-то как раз вполне ее понимаю. Преподавать этот предмет было очень сложно, она преподавала в школе рабочей молодежи, где, по ее словам, было очень трудно со старшими хулиганистыми подростками, которые вели себя грубо по отношению к педагогу. Но у мамы, в отличие от тети, не то что застенчивость некоторая была, но какое-то не особенно большое желание самоутверждаться. Говорила, что училась музыке,

но играть публично не хотела и не могла. И она всегда удивлялась, что я на это способна. А я это делала много за свою жизнь, на протяжении музыкальной части своей карьеры.

Увлечение музыкой

С.П.: Музыка — это большое увлечение, большая любовь?

Н.А.: Абсолютно. Когда я увидела в анкете вопрос, кто ваш любимый философ, то совершенно стихийно написала: Иоганн Себастьян Бах. (*Смеется.*) Абсолютно. Я себя спрашивала — что это, что это значит. Но если разбирать, кто он, Бах, откуда, что для него было важно, то увидим, что это Лютер, хоралы, перевод (последнее не для Баха важно, а для Лютера: перевод на немецкий язык с латинского — проблема, надо сделать так, чтобы всем было все понятно). В любом случае «на том стою и не могу иначе». Музыкой я хотела заниматься, это, разумеется, была самая первая любовь. Я умоляла родителей, чтобы меня учили.

” И в эту самую одиннадцатиметровую комнатку, в которой мы жили, перевезли из Рязани немецкий старый инструмент, который весил полтонны. Как везли, я не знаю, у него была лопнувшая дека.

Я пошла в музыкальную школу и ее закончила. Потом я поступила в лучшее московское музыкальное училище, тогда были не колледжи, а училища, оно называлось Музыкальное училище при Московской консерватории. А училась в Бабушкинской школе, которая была очень хорошей (сейчас она — Свибловская), огромное количество выпускников. И те, кто хотел, поступали в училище, потом в консерваторию и т. д. Педагоги были очень хорошие. У истоков этой школы стояли, как рассказывают, две немки: Генриэтта Генриховна и Гордиэтта Гордиановна Берггольц, невероятно преданные музыке и детям. Музыкальная школа помещалась в деревянном особнячке с витражами. Поэтому она имела какой-то сказочный вид, особенно зимой, когда с нотной папкой идешь. Нужно было очень далеко идти, минут сорок, я думаю, пешком и ни на чем нельзя было подъехать. От дома 107 Б, в котором я жила на Ярославском шоссе, надо было идти в противоположную сторону, через железнодорожный мост, меня отпускали и вечером, когда угодно.

Возвращаясь к Баху: я прекрасно помню свои впечатления. Вообще найти возможность слушать музыку было очень и очень сложно. Сейчас этого никто не может понять, но я помню, что впервые услышала записи Гленна Гульда (там были и инвенции, и прелюдии, и прелюдии и фуги Баха и др.) благодаря моему однокласснику по музыкальной школе — Василию Лобанову, очень одаренному музыканту, спустя годы ставшему, кстати, моим первым мужем. Его отец занимался расшифровкой записей Скрябина, Софроницкого — была особая система конвертирования механической записи звуков в живые звуки. Он также имел замечательную коллекцию — по тем временам совершенно уникальную — разных записей. Это было настоящим чудом — услышать их в достаточно молодом возрасте.

” Ну и потом, всю мою молодую жизнь для того, чтобы послушать, скажем, «Страсти по Иоанну» Баха, нужно было заранее заказать их в консерватории, в особой комнате с особой акустикой — все записи я слушала именно там. Так что к этому нужно было много стремиться, нельзя было просто взять и послушать.

А сейчас невероятное богатство возможностей в этом смысле — что хочешь, то и покупаешь, записей десятки.

С.П.: Но ощущение самого события, что ты не просто взял и послушал, но тебе надо пройти путь до этого, тоже обладало, наверное, особой прелестью?

Н.А.: Конечно. Нет, я помню прекрасно, как в радиопрограмме было это написано (брату было два года, значит, мне было двенадцать лет), что «Лунная соната» Бетховена будет передаваться в такое-то время; на даче, где мы жили, не было никакого приемника, и бабушка, которая с нами жила в тот момент, согласилась купить приемник — самый дешевый. И я прекрасно помню, как я ждала этого дня и как мы вместе это слушали все. Она музыкой специально не интересовалась, но я ее водила на «Реквием» Моцарта в Большой зал консерватории, пела Латвийская капелла, и это было невероятной редкостью.

С.П.: А музыка — это от дедушки вашего?

Н.А.: Не знаю. Дедушка умер, когда мне было девять лет. Не знаю.

С.П.: То есть это возникло само?

Н.А.: Это возникло само. Мама мне пела довольно много, чтобы кто-то что-то читал, я не очень помню, но мама пела арии из опер разных. Родители согласились легко на то, что я хочу учиться музыке, но когда я просила, чтобы меня учили иностранным языкам, на это они уже не пошли. И ужасно жалко, я очень от этого страдаю до сих пор.

С.П.: А почему?

Н.А.: Они считали, что достаточно, хватит, девочка же, и так будет хорошая профессия. Мой отец считал вообще, что замечательно, если я буду потом преподавать музыку, и я какое-то время преподавала музыку в детском саду, когда — это я уже забегаю вперед — когда я поступала в университет и не прошла, то есть я поступила только на вечернее, по совершенно идиотской причине, которая сейчас была бы непонятна, она заключалась в том, что я не добрала ноль и что-то в периоде балла — в смысле баллов проходных. В тот год, когда я поступала, это был 1963 год, вдруг ввели учет баллов по аттестатам по профилирующим предметам, раньше этого не было, а у меня, хотя я училась в вечерней школе, была четверка по русскому языку. В силу этого я была обречена иметь непроходной балл. На вступительных все отметки, кроме сочинения, у меня были пятерки, и это было ужасное чувство, что нельзя ничего исправить, что я ничего не могу сделать. И это тогда, когда я решила все-таки из музыки уйти, так что получилась нескладная ситуация. Решила я уйти из музыки потому, что было понятно: я не буду концертирующим музыкантом. И еще я точно знала, что не хочу преподавать и что я не хочу быть концертмейстером. Наверное, были другие пути... А они были, конечно: скажем, теория музыки. И педагоги у меня были совершенно замечательные в училище — Юрий Николаевич Холопов, великий теоретик, а нам он преподавал даже начальные предметы — сольфеджио, элементарную теорию музыки, а потом уже гармонию и начала анализа. Но как-то я в эту сторону не обратилась, а потом мне уже захотелось заниматься филологией, то есть чем-то связанным с языком.

Увлечение филологией

С.П.: А как возникла тема языка вообще и иностранных языков, это желание, когда оно появилось?

Н.А.: Любовь, которая вместе с музыкой, я помню, появилась — в одно и тоже время. Это две самые сильные страсти — к музыке и к языку, к языку как стихии, к языку как чуду. Сейчас мы разговаривали с Георгием Дмитриевичем Левиным в секторе, я у него что-то спросила, а потом говорю ему: язык это чудо — как он функционирует, какие они разные, как все это происходит, как произошло, что человеческие способности развились таким именно образом, что существо, которое готовилось быть человеком, смогло артикулированно, членораздельно речь какую-то породить и с помощью этой речи столько всего высказывать! Но возвращаясь к тому, о чем мы говорили: дальше получалось так, что когда нужно было выбирать, а в МГУ нужно было выбирать буквально на первом же курсе, что вы хотите изучать — язык или литературу, так как куррикулум был немножко разный для лингвистов

и литературоведов. Конечно, огромное количество предметов были общими в том и другом случае — но для меня это был язык. А я не знаю откуда... никто мне этого не внушал. Я сама просто придумывала себе разные игры с языком. У Чайковского была игра смешная, это не моя придумка, они в училище правоведения играли с друзьями таким образом, чтобы их не понимали. Они заменяли позиции согласных в слове. Скажем, не «река», а «веца» — это если мы напишем все согласные в ряд, а под ними все следующие согласные, а потом будем менять верхнюю на нижнюю, нижнюю на верхнюю.



Мы с моей приятельницей, с которой учились вместе сначала в школе, потом в музыкальном училище, достигли невероятной виртуозности в разговоре на тарабарском, нас никто не понимал, все раздражались. Это было замечательно.

Но это уже более поздний возраст, я в шестнадцать лет поступила в училище. А до того, вот как только приехали в Бабушкин, я придумывала разные игры оттого, что меня не учили никакому языку. Три книжки было всего в этой крошечной комнате — словарь иностранных слов, мамин справочник по акушерству и гинекологии, потому что она ждала Володю, и рассказы Куприна. Я читала словарь иностранных слов от корки до корки, а потом записывала (и мне казалось, что я нахожусь в стихии другого языка) русские слова латинскими буквами — какие-то такие, свои собственные игры. И мне нравятся все языки, когда, как мне представляется, на них хорошо говорят. Английский очень нравится, немецкий очень нравится, но, к сожалению, я тут не достигла никаких особенных успехов; то есть важно учить язык все-таки рано-рано, а у меня получилось так, что моя первая специальность — это английский язык и литература. Мы немножко учили французский и немножко немецкий, так что пятерки по этим языкам мало что значили, латинским я занималась один год с Гаспаровым Михаилом Леоновичем — замечательным филологом, греческим я занималась сама по учебнику. Сейчас я с умилением и радостью смотрю на Абдусалама Абдулкеримовича Гусейнова, других сотрудников Института философии РАН, которые учат греческий, это сейчас возможно, есть преподаватели. Как-то раньше все это было сложнее.

Учеба в средней и вечерней школах

С.П.: Если немного вернуться, то, кроме музыкальной школы и училища, детская школа — это что? Там что-то было содержательное?

Н.А.: Нет. В детской школе ничего содержательного не было. Первые семь лет я училась в городе Бабушкине. Я рассказывала, что первые четыре года это было замечательно, там была изумительной доброты преподавательница начальных классов — Валентина Ивановна.

С.П.: Благодаря которой есть брат? (*Смеется.*)



С группой коллег в Университете Париж-8. Вторая половина 1990-х годов

Н.А.: Благодаря которой есть брат, совершенно верно. Я сейчас со стыдом вспоминаю: она иногда делала ошибки грамматические, а я уже тогда их замечала, и у меня появился какой-то скепсис. Но сейчас я понимаю, что количество доброты и количество тепла, которое у нее было к детям, — это просто невероятно, потому что я сейчас говорю, а у меня мурашки по коже, настолько это ощущалось.

Дети были настолько бедные! Я рассказывала, что жила в комнате одиннадцати метров, один раз в неделю давали горячую воду, двадцать человек должны были успеть постираться, помыться, но вокруг нас стояли бараки, в которых жили дети, которые существовали совсем в других условиях. Не знаю, какая-то человеческая компенсация этой тяжелой жизни: Валентина Ивановна всегда умела так деликатно сказать что-то, что иначе сказать ребенку нельзя.

Потом отцу все-таки предоставили квартиру побольше. Он оставался, по-моему, последним из военных, кто жил в этом доме, все уже давно уехали. Когда узнали, что подполковник живет с семьей в пять человек в одиннадцати метрах за городом, сказали: «Такого быть не может». Созвали комиссию, комиссия приехала и увидела — да, старушка-мать, двое детей, все живут в комнате одиннадцати метров. Тогда ему в Измайлове выделили квартиру. Получилось так, что я доучивалась в музыкальной школе и перешла в школу рабочей молодежи — вечернюю школу — и ее закончила. Вот в этой вечерней школе я получила четверку по русскому, что вообще нонсенс потому, что я была почти врожденно грамотной, но какой-то диктант написала не так хорошо.

От вечерней школы у меня самое хорошее воспоминание осталось: там были хорошие, довольно усталые люди, которые знали, что они делают, которым хотелось получить образование, и ко мне относились хорошо. А у меня получилось так, что, поскольку я в шестнадцать лет поступила в училище при консерватории, я параллельно с этим проходила гуманитарные общеобразовательные предметы

и там получила свой аттестат, но я хотела иметь нормальный аттестат, полный, это и был аттестат школы рабочей молодежи. А когда я провалилась при поступлении в университет, о чем уже рассказывала, это была ужасная трагедия: не могу поступить, никогда ничего не изменится... Сначала я думала, что надо потерять аттестат, но где-то все равно он существовал бы. (*Смеется.*) Потом я все-таки решила пойти, как мне советовали, на вечернее отделение, потому что обещали, что если я буду отлично учиться, меня переведут на дневное. Но дальше все было с точностью до наоборот. То есть конечно я отлично училась, и у меня не было четверок — никогда ни по каким предметам, но переводили всех, так сказать, по блату: были дочки маршала Гречко, была очень симпатичная Нина Зархи, дочка режиссера. Мне предложили перейти на дневное только на пятом курсе, когда не нужно было уже этого делать. Поэтому я закончила на вечернем. Красный диплом мне вручали в актовом зале МГУ, а заканчивала я свои занятия еще в старом здании университета, там, где Герцен и Огарев — замечательные фигуры стоят.

Подготовка к поступлению на филфак. Работа во время учебы

С.П.: Но вы говорите, что вы еще параллельно работали?

Н.А.: С работой получилось не очень удачно. Сначала это был очень краткий период музыкального преподавания в детском саду рядом. То, о чем мой папа говорил, что для женщины нет лучше профессии. То есть никто и никогда меня ни на какие высоты не призывал, совсем наоборот, считалось, что это не обязательно. В саду я была настолько неадекватна! Я вводила слишком много пианизма и мало уделяла внимания тому, как они поют, и тем более как плохо они себя ведут. Поэтому мне пришлось оттуда уйти.

И потом в течение какого-то времени, не все шесть лет, я работала в отделе аннотаций Ленинской библиотеки. Туда меня рекомендовал Михаил Леонович Гаспаров. Среди прочих родственников я не упомянула об этом дальнем родстве, но невероятно важном: мать Михаила Леоновича — Елена Александровна Будилова и моя бабушка были двоюродные сестры. Поэтому когда я захотела уйти из музыки, решили обратиться к Михаилу Леоновичу, чтобы он меня подготовил, как-то помог сориентироваться. Я не была начитана, я была совершенно в других материях. Вы знаете, я хотела взять с собой — это было бы изумительное свидетельство, просто показать: Михаил Леонович начертил для меня такие геокультурные карты. В книжке писем Гаспарова, которая называется «Ваш М.Г.», где есть треть писем мне, опубликованы в лист А4, нет, не шпаргалки, а какие-то опорные записки для изучения истории культуры и одновременно просто истории разных стран по векам. Где, скажем, XVII век, там было все — революции и все великие люди, и в основном крошечными буквами он ставил годы жизни, и эта карта была как контурная карта Европы. И потом он для меня сделал список обязательной литературы, российской и, главным образом, западной, которую надо было прочитать человеку, собирающемуся поступать на филологический факультет.

”

И я в течение всего года параллельно с обучением в училище ночами читала, мой папа приносил из военной библиотеки книжки, и я их читала, а бабушка сидела на кровати возле меня и не спала всю ночь, считая, что мне так легче, и действительно мне было так легче.

И я готовилась тем, что читала литературу, начиная с античной, естественно в русском переводе, вплоть до современной, проштудировала очень много книжек. И раз в неделю я ездила к Михаилу Леоновичу, в то время он с семьей жил на Пятницкой улице. Вечером он мыл посуду в кухне, а я сидела за столом в кухне, там было всего две семьи, и мы разговаривали. Я ему рассказывала, что прочитала. Его влияние на меня было очень сильным, он меня очень поддерживал. Сам он в этот период, наверное, уже работал в Институте мировой литературы. А вообще-то у нас с ним разница всего десять лет, а он уже давно умер. Гаспаровские чтения начинаются в РГУ, кстати, 18 апреля, чтения продлятся три дня, поделены они по трем его специальностям: античная филология — все три дня, полные три дня, потом

стихovedение — два полных дня, и так называемая неклассическая филология, просто, чтобы ее отделить от классической. А умер он в 2005 году.

Когда я буду рассказывать, если мы дойдем до этого, что́ было самым ярким эпизодом университетской жизни, — это рождение вкуса к самостоятельной работе. К тому, что я делаю сама что-то, чего еще нет. Вот это возникло, конечно, с его помощью. Он себя называл — он любил такие эпатазирующие названия — эпигоном младших формалистов. Эпигон — тот, кто после. Для меня это значило, что я формулировала свою профессию в филологии как лингвостилистику. Для философа это ничего не значит. Для того чтобы это было понятно, надо сказать, что это самый стык между изучением языка вообще и изучением произведения — то есть то, что можно в литературном произведении постичь с помощью языковых средств. В тот момент (в этом, кстати сказать, в университете мне ужасно повезло) мы были первым потоком, которому начали читать все курсы по структурной лингвистике, бывшие тогда последней модой, например, спецкурс по дескриптивной лингвистике американской читала Владилена Павловна Мурат. Были преподаватели, которые сами переводили, я недавно с этим вновь столкнулась в связи с подготовкой тома о Якобсоне, который я готовлю в серии «История философии России первой половины XX века». Я посмотрела, насколько замечательно — благодаря Звегинцеву — сделали сборники по новой лингвистике! Было очень много нового в то время, начались опять же выпуски Лотмановских сборников.

” Я помню особое большое впечатление, которое произвело на меня исследование Гаспаровым стихотворения Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива». Это было совершенно умопомрачительное впечатление, насколько много можно открыть в тексте.

С.П.: Это когда было?

Н.А.: Это было самое начало, наверное, второй курс. Сразу за этим я стала заниматься темой, в которой я уже себя узнаю, а именно это была тема, в общих чертах заданная Гаспаровым, но в общем-то фактически разрабатывала ее я — под его руководством. Потом он написал статью по нашим результатам — она называлась «Сонеты Шекспира и переводы Маршака» — от которой пошло дальше то, что со мной стало случаться в жизни. Интуиция была его: «Я хочу проверить ее твоими руками» — сказал он мне. А интуиция была такая: те переводы Шекспира, в частности сонетов Шекспира, которые считались самыми замечательными и образцовыми (это переводы С.Я. Маршака), не имеют или же имеют очень слабое отношение к оригиналу. Статья — это уже итог, потому что работа длилась первоначально год, а потом получилось, что еще дольше. Все сто пятьдесят четыре сонета я разбираю, некоторые из них более подробно.

” Гаспаровский пафос формалистов заключался в том, что хотя о вкусах мы не спорим, надо проверить наше впечатление — значит, иметь какие-то аргументы, чтобы с их помощью можно было рассуждать о чем-то, что кажется иначе подлежащим оценке только с позиций художественного вкуса

И под его руководством я делала анализ, как в Германии делали Трир, Вайсгербер, вычлняя типы семантических полей, то есть лексику, относящуюся к такой-то теме, — деловые отношения или финансы, например; в сонетах огромное количество лексики, относящейся к каким-то специальным темам. Самим Гаспаровым также всегда применялись в анализе стиха статистические методы, чтобы посмотреть, какие слова чаще употребляются. В данном случае вопрос был о том, какие слова чаще употребляются Маршаком или Шекспиром и что из этого вообще получается, при всем различии контекстов, в которых

они оказываются. Итог оказался такой, что ярчайшее барочное стихотворение XVI века превращается в романтические стихи, хорошие, но по стилистике примерно первой половины XIX века, а по классицистическому тону, как выражался Гаспаров с его поразительной определенностью, — пример советского классицизма 1940-х годов. Когда наше произведение было опубликовано, я еще была в университете.

А сама работа, которая в основном пришлась на время моего обучения на третьем курсе, — это был просто праздник. Это был праздник продвижения, потому что еще не известно было, что будет, продвижение по материалу, какие-то открытия. И я заметила, что все личные переживания отступают на второй план, когда я бегу домой, где меня ждет моя работа, которую никто не делал до меня. То есть я стала другим человеком в тот момент, когда я сдала эту работу. Когда я попробовала представить ее в университете (я тут пела панегирики лингвистам нашим, но в литературоведении такого еще не было), мне было сказано: то, что вы сделали, — образец того, как не надо было делать. И, кстати, далеко не худшие люди там, на третьем курсе, говорили это.

Но самая главная катастрофа, конечно, произошла на защите диплома, где никакого Маршака у меня уже не было. У меня был диплом на тему «Лингвостилистический анализ образной системы сонетов Шекспира», очень хороший был диплом, но в этот как раз год — 1969-й — в журнале «Вопросы литературы» вышла-таки статья с авторством Автономовой и Гаспарова — «Сонеты Шекспира, переводы Маршака». Статья стала классикой сразу же, несмотря на то, что преподаватели с английской кафедры очень обиделись, все-таки Маршак был для них очень важен. У Гаспарова была высокая дипломатия, то есть он писал в статье, что это хорошие русские стихи, но претензия на то, что это и есть русский Шекспир (а она до сих пор, когда бывают передачи о Маршаке, звучит), не обоснована, может, с Бернсом дело обстояло лучше, но с Шекспиром, конечно, нет. Статья привела к тому, что защита была очень жесткая. Мне все-таки дали рекомендацию в аспирантуру, благодаря чему я смогла пойти в Институт философии в аспирантуру, когда поняла, что с филологией у меня дальше ничего не получится. А я строила планы, что в аспирантуре буду делать образный, семантический, сравнительно-сопоставительный анализ европейского сонета, что я и Ронсара, и Петрарку, и современников Шекспира привлеку; в общем, куда-то меня несло, хотя мы с Гаспаровым думали тогда, что это вполне реальная перспектива роскошной диссертации. Но ничего уже не получилось там дальше.

Проливая горючие слезы, я взяла эту бумагу-рекомендацию и ушла. И вот в какой-то момент, когда я не знала, куда деваться, совершенно случайно, и это был случай в моей жизни счастливый, в Институте мировой литературы я встретила с Татьяной Вадимовной Васильевой, тоже классическим филологом, которая работала в тот момент в секторе диалектического материализма. Она занималась изданием классики, но была приписана к этому сектору. Она сказала: а почему бы тебе не пойти в сектор к Лекторскому? Владислав Александрович Лекторский в тот год — это был 1969 год — стал руководителем сектора диалектического материализма. Я загорелась этой мыслью, но нужно было написать достойный реферат. На подготовку у меня было примерно пять месяцев. Я написала реферат о том, что мне представляется недоказуемым, что меня не удовлетворяет в моем собственном дипломе. А там было много того, что меня не удовлетворяло. Скажем, мне было понятно, что между статистическими результатами и интерпретацией пролегает какая-то неопределенная область, с которой я не знаю что делать. И то, что мне отвечал Гаспаров, меня не удовлетворяло. Мне казалось, что тут какая-то другая область знаний должна вторгаться, если вообще можно иметь с этим дело. Васильева тогда советовала мне разное, и я как могла разбиралась и с Гуссерлем, и с семиотикой Чарльза С. Пирса. Ничего практически не было в русском переводе, но что я могла, читала по английским источникам — семиотический, герменевтический подход, феноменологический подход. В общем, написала реферат. Мне хотелось бы его сейчас найти, говорят, что он был даже хороший. И можете себе представить, тоже по программе, которую уже составила мне Васильева, я готовилась к экзаменам, которые должны были состояться осенью. Поэтому все лето после защиты диплома можно было готовиться. Так, я, возможно, на этом кураже — потому что мне ужасно хотелось учиться дальше и казалось, что есть какие-то области, которые мне прояснят больше, чем я могла понять тогда, — на этом кураже я успешно сдала вступительные экзамены.



Международная конференция «Зигмунд Фрейд и психоанализ в контексте австрийской и русской культур». Москва, МГЛУ, 2000 г. Слева направо: В.В. Старовойтов, В.И. Мудрагей, Н.С. Автономова, В.А. Лекторский, А.М. Руткевич

Учеба в аспирантуре. Философия

С.П.: А вообще с философией как-то до этого вы соприкасались? Курсы какие-то же были?

Н.А.: Курсы конечно же были. Что касается преподавателей университетских, то они были неважные. Был Семен Семенович Гольдентрихт, который преподавал у нас диамат, но он был специалист по эстетике. По научному коммунизму (извините, вы, наверное, уже не слышали даже этих названий) был преподаватель по фамилии Нечипоренко, за которым я записывала его выражения в течение всего года. Это настолько вербально невозможно, как он выражался, что мне очень бы хотелось найти эти записи.

Так что никаких философских откровений в университете не было, но что было — это опять же скорее шло со стороны Василия Лобанова, который продолжал быть моим ближайшим другом. Он купил шеститомник Канта, как только тот вышел, мне было тогда девятнадцать лет, и все, что могла, я там пыталась читать. Я очень внимательно читала и с огромным удовольствием, скажем, Романа Ингардена, который был ближайшим учеником Гуссерля, его исследования по эстетике — очень интересное применение феноменологического метода к анализу разного художественного материала, обращение к рецепции собственно, к тому, как строится восприятие, и к Мицкевичу, и к Шопену, и к другим текстам, — это было совершенно замечательно. Лотман производил на меня очень большое впечатление, и весь его круг — Жолковский и Щеглов, а еще Юрий Левин, люди, пытавшиеся строить поэтическую картину мира, но строить на основании вербального материала: что получается из этого, как это можно интерпретировать. Это мне было страшно интересно.



Я думаю, что был интерес стихийный к тому, что тогда называли методологией науки, а сейчас, поскольку этот термин у нас практически не употребляется, надо скорее сказать — к философии науки и к философии гуманитарных наук.

Философия и методология гуманитарных наук — то, что меня интересовало. Поэтому это было просто как песня, когда Васильева сказала, что вот в этот год (не знаю, в рамках академии в целом это было или в рамках института скорее) ищут людей, которые имеют специальное образование, не философское, но хотят заниматься философией. Это как раз был мой случай. Если с поступлением на дневное отделение МГУ мне крайне не повезло, то с аспирантурой — это была уникальная для меня возможность. Мои дальнейшие философские интересы стали развиваться уже тогда, когда я попала в сектор. А сектор — это просто совершенно другая эпоха. Я никогда, ни раньше, ни позже, ни на Западе, ни в России не видела одновременно присутствия такого количества умных и порядочных людей, не видела опять же нигде и таких форм демократии, которые тогда были стихийными и абсолютно естественными. Потому что люди были очень разные, и по статусу в том числе. Когда я первый раз вошла в сектор, помню в контражуре у окна — Ильенкова...

С.П.: А как вообще это произошло? Как вы пришли?

Н.А.: Васильева меня привела, я была какая-то совсем затравленная, неуверенная, я очень долго была неуверенная, потому что сектор был...

С.П.: Это была другая область.

Н.А.: Это была абсолютно другая область. Такая же проблема была и для Васильевой, то есть она самоутверждалась в области, которая не была ее областью. Со мной было примерно то же самое. И до какого-то периода я думала, что мне было бы правильнее идти в историю современной западной философии или что-то такое. Но постепенно слой вопросов, который мы определили как философию и методологию гуманитарных наук, все-таки перевесил. И Никитин, Швырев, Ильенков — что-то невероятное совершенно, и, конечно, во главе их Лекторский, у которого есть все-таки дивный талант приятия людей. Я думала недавно: что бы ни происходило, он может руководить и слушать, что каждый говорит, именно потому, что сам при своей эрудиции и анализе все это прорабатывает очень здорово, а человечески принимает разные позиции. И в секторе поэтому можно было существовать удивительным образом, по совершенно невероятной логике, которая в других местах была невозможна.



Когда Никитин говорил Ильенкову: «Работа выполнена с точки зрения принципов, которые я не разделяю, и традиций, которых я совершенно не придерживаюсь, но сделана блестяще и поэтому я голосую „за“», об этом можно до сих пор рассказывать как об образе рая на земле — и не скажешь точнее о сообществе, в котором мне довелось существовать.

Что еще было замечательно, так это то, что хотя тогда мало публиковали, но каждый труд, каждое произведение, которое выпускалось, было праздником. Я помню, когда вышла книжка Лекторского «Субъект, объект, познание», как это было замечательно. И Лекторский, и Швырев не спешили защищать докторские, они долго не были докторами. То есть абсолютно не то, что сейчас, абсолютный анти-пиар. Я понимаю, что это выглядит как ностальгические переживания по той эпохе, но все-таки удельный вес мысли, а не способа ее презентации, был гораздо выше. И внимания, уделяемого произведениям, было гораздо больше. Я прекрасно помню, когда вышел перевод книги Фуко «Слова и вещи» в 77-м году и моя первая книжка о французском структурализме в 77-м, в коридоре люди подходили и спрашивали:

а что он думал, что хотел сказать — и о многом другом.

Конечно, то, чем я восторгаюсь, — это сектор. Когда дверь из него открывалась, это была дверь в совершенно другое пространство. Пространство, в котором книжка моя, законченная в 74-м году, смогла выйти только в 77-м, потому что ее каждый раз выбрасывали из плана, якобы «неизвестно кто». Или, скажем, на ученом совете критикуется том энциклопедии, а у меня там статья о каком-то герое — допустим, о Фуко или о Деррида, и возникает вопрос: почему нет критики? Или, допустим, Лекторский просит кого-то выступить на ученом совете по поводу моей книги, а он говорит: «Да нет, слишком много материала, слишком мало теории». В сборнике «Системные исследования» под руководством Эрика Григорьевича Юдина мне нельзя было опубликовать статью, невозможно, не пустили. Там был такой заведующий редакцией Кондаков, который сказал: «Нет, ни за что. Структурализм нам не нужен, и все». Все это было очень сложно. И действительно, пространство сектора было замкнуто, а за ним все было более трудно. Сейчас иначе границы проводятся. Сейчас замечательная, приимчивая к разному дирекция — наши два последних директора. Но количество того, к чему вынуждают обстоятельства социальной жизни — огромное количество семинаров, огромное количество лекций, — мне, например, не позволяет внутри себя самой работать так, как я бы считала необходимым. Я не знаю, может, другие это могут. Я сбилась, по-моему, с вашего вопроса.

О структурализме

С.П.: Нет, вы не сбились с моего вопроса. А вообще, тема структурализма была естественна?

Н.А.: Абсолютно.

С.П.: То есть методология...

Н.А.: Тему я искала трудно. Много было страданий. Я считала, что не заслуживаю быть в секторе. Тем не менее, говорят, что когда я выступала, все было нормально. Я помню, как кто-то сказал, вернее мне передали мнение одного из сотрудников: вот мы взяли девочку (а там были в основном одни мужчины) и довольны — смысл был такой, что умненькая. Для меня это было таким невероятным комплиментом, что я внутри себя расцвела. У меня получилось следующее. Я искала тему, конечно же, связанную с языком, и никак не могла ее найти. Естественно, вы можете априори предположить, что я опробовала... да-да, это была теория лингвистической относительности. Потом это был Кассирер, который мне ужасно понравился, Сюзанна Лангер, также эти течения вокруг. Потом вдруг, не помню откуда, не помню, кто мне посоветовал почитать Альтюссера. Французский язык далеко не был фокусом моих интересов. Мне невероятно понравились его книги, которые вышли совсем недавно по-русски. Обратите внимание, что временная разница между тем, чем я занималась здесь, и тем, чем занимались на Западе, была пустяковая, совершенно пустяковая, то есть это были совсем свежие вещи, и в Ленинской библиотеке, по крайней мере, эти книги были. Хотя очень многие, например книга «Критика диалектического разума» Сартра, были только в закрытом доступе. Так вот, прочитавши эти книги, я обнаружила тезис теоретического антигуманизма как провокационного способа защитить тогда в Марксе научное, отделить от идеологического и сказать: давайте читать Маркса «Капитал» и заимствовать у него методы. Это делалось параллельно и в России, но российских книг я читала гораздо меньше, а вот Альтюссера я читала. Для меня это было очень важно — возможность философского отодвигания от идеологии и какого-то методологического способа делать это последовательно. После, по-моему, Татьяна Клименкова, которая была со мной на одном курсе в аспирантуре, посоветовала мне почитать Фуко. Вот тут уже случилась любовь, совершенно невероятная, довольно долгая. «Слова и вещи» — книжка тяжелая для прочтения, тяжелая для прочтения для человека, который далеко не настолько свободен, чтобы это читать свободно. Я ее когда-то почти переписала от руки — в Ленинской библиотеке не было никаких копировальных возможностей. Это все происходило в период моей аспирантуры между 69-м и 72-м годом, а защитилась я в начале 73-го. Мне это показалось невероятно интересной общей картиной. Почти тут же это присовокупилось к моим впечатлениям от прочтения статьи трех авторов — Мамардашвили, Соловьева и Швырева, от идей, схожих в чем-то с эпистемами

Фуко, но это не эпистемы. И мне показалось, что здесь есть одновременно и очень большой охват, и то пространство, в котором можно прописывать конкретные идеи, и это для меня было очень важно. После этого, после «Слов и вещей», после Альтюссера уже стал набираться материал по французскому структурализму.

” Я фактически делала перепрофилирование лингвистическое, я сама для себя вырабатывала словарь и способ чтения французских текстов, а французская философия современная очень сложная, сложная по языку.

С.П.: Никаких наставников в этом у вас не было?

Н.А.: Специальных нет. Но, конечно, Михаил Леонович все время был рядом и так или иначе он помогал. Еще была замечательная женщина — Ирина Александровна Доброхотова, она была и врачом, и преподавателем французского языка, я когда-то с ней занималась немного французским дома. Но она уже здесь не могла меня продвигать в занятиях с Фуко. Так что я, в общем-то, действовала на свой страх и риск.



Лекция проф. Р. Коэна (США) в Институте философии РАН. Москва, конец 1990-х годов. Слева направо: Т.Б. Романовская, Р. Коэн, Н.С. Автономова, В.А. Лекторский

С.П.: Просто своя терминология, свой концептуальный язык, его надо было...

Н.А.: Он наращивался, было невероятное давление всей этой литературы — это одновременно и Барт,

и Лакан. Можете себе представить, что это такое — я заказываю Лакана и получаю вот такой том, девятьсот страниц на месяц в третий зал Ленинской библиотеки, делается микрофильм, который можно смотреть в задней части Ленинской библиотеки, крутить какую-то ручку. Сейчас мне непонятно, как это было возможно, но это было возможно, потому что это было... не знаю, экстаз для меня, ощущение схватывания каких-то очень важных вещей. Очень важных, потому что язык, языковые механизмы оказываются ответственными — такая гипотеза — за возможность большей объективности в гуманитарном знании. И если мы сейчас движемся в пространстве этой идеи, то для меня это было важно всегда. То есть я бы не стала писать по экзистенциалистской какой-то тематике, это не соответствовало в тот момент какому-то моему сознанию — абсурда или еще чего-то. А вот стремление к тому, что хоть сколько-то объективно в гуманитарном познании и что желательно было бы разыскать, — было. И если язык — опора для объективности, то это замечательно. И это как раз то, что дает структурализм. Это было каждодневное сидение в Ленинской библиотеке от зари и до зари. Я приезжала к девяти и уходила в двадцать два. Там уже был целый коллектив людей, которые друг друга знали, места занимали. Мои интересы произрастали, побуждаемые этой тематикой и сектором.

В то время в секторе было несколько трудов, связанных с теорией материалистической диалектики. Я в них не писала ничего. Но люди были настолько шире всех тех институциональных рамок, которые предписывались этой работе, настолько уникальные, что это был пример, вдохновляющий что-то такое самому делать.

С.П.: Как воспринималась ваша тема? Как преломлялась? Были ли какие-то обсуждения на уровне аспирантуры? Научный руководитель был...

Н.А.: ...Владислав Александрович был, как я понимаю, удовлетворен моими краткими выступлениями в секторе, ему, видимо, казалось, что я справлюсь. Поэтому он мне совершенно не мешал, не докучал: а где, а что. Я ему принесла готовый текст. А до этого, что мне еще помогало — не всегда так бывает, — у меня во время аспирантуры вышло две статьи в «Вопросах философии» — одна из них по Фуко была первая фактически и о Лакане первая в СССР — в 72-м и в 73-м году. И в том и в другом случае помогал в прохождении этих статей Мамардашвили, который был заместителем главного редактора, и он это поддерживал, ну и Юрий Петрович Сенокосов, который был редактором этих моих статей, он всегда говорил какие-то такие слова — «замечательно, гениально», что-то такое. Я довольно долго не писала, а потом за лето 72-го года диссертация написалась. Поэтому это все было спокойно, то есть без проблем каких-то содержательного характера, чтобы кто-то возражал, а может, кто-то и был недоволен, просто не стал этого говорить.

С.П.: То есть это была самостоятельная, собственная работа.

Н.А.: Да, получается, что да.

С.П.: А вы вообще осознавали, что вы «творите»?

Н.А.: Нет-нет, больше того, тут есть такие несоответствия в саморефлективном представлении. Когда мой отец спросил меня, а я должна была защищать диссертацию: «Ну и что же ты открыла?» — я сказала: «Ничего». Совершенно искренне, подумала, а что же я открыла, авторы существовали и без меня, ну я что-то описала. Для того чтобы это описать, нужно было выработать словарь. Нет, только задним числом, поняв, что на протяжении двадцати лет потом не вышло ни одной другой книжки по французскому структурализму в России, и что ее читали, так получилось, и в других странах, в Болгарии например и в других так называемых социалистических странах, где чтение на русском языке было довольно-таки легким, то есть люди читали без проблем, я поняла, что книга была нужна.

С.П.: А это не говорили другие люди?

Н.А.: Да нет, конечно, говорили.



Мне дали тогда премию Ленинского комсомола. Это было совершенно невероятное событие — прямо на следующий год после выхода книги. Я помню ощущение того, что это большое событие, почетное.

Я никогда не скрывала, что я получила премию Ленинского комсомола, даже когда советскими деталями жизни не было принято не то что хвалиться, но и упоминать. Я знаю, что моя премия Ленинского комсомола была вторая после Аверинцева — за книжку о Плутархе. Это уже потом развелись другие представители-получатели этой премии, в одном ряду с которыми мне не хотелось бы быть. А в тот момент это было не так. Эта книжка была сначала подана на конкурс молодых ученых, по всем критериям я тогда попадала в молодые, а потом кто-то передал ее на всесоюзный конкурс. Мне говорили потом, что известный физик Басов (я никогда его не видела, не слышала, не общалась) был тоже каким-то официальным лицом в присуждении этой премии. Кто решил мне ее дать — для меня остается тайной. Ни сектор, ни институт никогда не рекомендовали ее никуда, потому что то, что посылал совет молодых ученых, могло не проходить ученый совет, так она пошла себе и пошла. То есть книжка проходила ученый совет, но когда проходила как книжка, а не когда посылалась куда-то.

С.П.: То есть непростым очень был ее путь?

Н.А.: Да, она так долго не публиковалась, она же могла гораздо раньше выйти.

С.П.: А эти моменты внешние никак не занимали вас? Или ваше путешествие занимало вас сильнее?

Н.А.: Я пряталась в работу. То есть во мне никогда не было политического темперамента, и я никогда не чувствовала в себе потребности вести, возглавлять, формулировать. Но представляла, что есть определенные качества профессионального политика, которые нужны для того, чтобы эта деятельность была осмысленной. И темперамента для этого у меня не было. Ни в каких акциях я не участвовала, ничего не подписывала, но я и не помню, чтобы мне кто-то предлагал. Наверное, можно было это делать, Гайденко подписывала, она в какой-то период лишилась работы, потом была восстановлена. У меня нет фактов в моей биографии, чтобы меня выгоняли или я совершала социально, политически значимые поступки.

С.П.: Я не совсем об этом спрашивала, а о статусе, признании — не теми людьми, которые для вас значимы, а более широким кругом, тем, что сейчас мы называем научным сообществом, что для современных ученых приобретает собственный вес.

Н.А.: Я сказала бы так: я знаю, что я тогда была звездой. А потом перестала ею быть, я это почувствовала довольно быстро, но какой-то период была. То есть если ссылки, то они были. И, в общем, меня знали довольно широко именно из-за этих двух вещей — из-за книги и из-за «Слов и вещей» Фуко.



Молодые девочки в институте говорили, что, дескать, вы для нас образец, вот у вас дочь, вы написали книгу, и вы защитились. Я оказывалась фигурой социально значимой для более широкого сообщества, думаю. Вышла даже статья, не помню, в каком журнале, где я была сфотографирована с дитем. Мифологизация, она там тоже есть.

С.П.: Она вызывала какую-то иронию? Или какое-то другое отношение?

Н.А.: Иронию — это потом уже. А тогда это все-таки было приятно — тот факт, что я получила премию и что это мне помогло решить вопрос с квартирой, вступить в кооператив, чтобы что-то такое построить и как-то жить человекообразно.

С.П.: Ну все равно это внешнее?

Н.А.: Это условие для того, чтобы делать что-то другое.

С.П.: Чтобы двигаться дальше в своей работе.

Н.А.: Да.

С.П.: Я думаю, родители были спокойны за вас.

Н.А.: Не очень, тут вот что. Они были не спокойны, они считали, что у меня вообще не все дома — если человек меняет профессию, причем дважды, в раннем возрасте. А это невероятно и времяземкое, и силовое дело. То есть сначала он уходит из музыки в филологию, что было очень трудно для меня, а потом он уходит из филологии в философию. Они думали: что же это такое, она не может определиться? Они потом так сказали.

С.П.: Мне просто кажется, что это был такой подвиг для вас — два раза...

Н.А.: Это было невероятно тяжело.

С.П.: Ведь вы могли оставаться в том, что не вполне вас удовлетворяло, но не требовало сверхусилий.

Н.А.: Да, все правда. Я сейчас не представляю, как на это могло хватить сил. И стоило ли это того, не знаю.

С.П.: Ну я думаю, что стоило, раз мы здесь сидим. Эти подвиги были не напрасны.

Н.А.: Хотя безумно много того, что не сделано. Недавно читала книгу Друскина о пассионах Баха и была потрясена уровнем божественной позитивности исследования, уровнем ответственности за факт, что, где, как. Если Бах писал это, то для такого-то оркестра, который был в его распоряжении. И потом рецепция: оказывается, в XIX веке какие-то части из «Страстей» Баха игрались вместе с частями месс Бетховена, и слух воспринимал это как нормальное! То есть это анализ обыденности и нормального восприятия, что-то невероятное. Я подумала, до чего это интересно! И это — тот путь, с которого я свернула, не пошла им. Мне не понравилось быть концертмейстером, но я могла быть кем-то другим.



Н.С. Автономова и М.Л. Гаспаров в Институте высших гуманитарных исследований при РГГУ. Москва, начало 2000-х годов

О языке и философии

С.П.: А чувство несправедливости, после того как в филологию двери, получается, закрылись, как это переживалось? Или выход, который вы нашли, он как-то вас спас?

Н.А.: Я думаю, что спас.... Знаете, мне, например, трудно ответить на вопрос, к какой я принадлежу школе. У меня нет школы в том смысле, у меня особое место. То место, где встречаются импульсы разных дисциплин и взаимодействуют элементы языков разных дисциплин. По-моему, очень важно, как они сочетаются или не сочетаются — это очень важно проследить. Гаспаров меня всегда уверял, что если я захочу заниматься филологией, то квалификацию я не потеряла, но это некогда делать, и я никаких филологических анализов с тех давних времен не делала. Тем не менее в философском материале меня безумно интересует (то, что, по-моему, философски очень важно и в этом смысле современно) философский язык — что это, какой это язык. Об этом настолько разные мнения существуют: что это обыденный язык, что это родной язык или что это иностранный. Я бы сказала, что это скорее иностранный язык по отношению к твоему родному, и если ты будешь чувствовать философский язык как кровь и почву, то не понятно, что ты сделаешь с этим языком. Для того чтобы с ним работать, нужно почувствовать его иначе. Это невероятно важный вопрос.

В последней книжке, которая называется «Философский язык Жака Деррида», я попыталась каким-то образом найти путь к этой головоломно сложной фигуре через отношение к языку, по крайней мере, часть материала, который у него был, позволяет посмотреть, что этим обусловлено. Это — неудовлетворенность

ситуацией отсутствия родного языка в том смысле, что он не знал ни еврейского, ни арабского, а французский знал в таком культивированном виде, который заставляет воспринимать язык как насаждаемую норму, а не как то, с чем ты родился. Это его подталкивало искать способ своего обращения с языком, реконструирования всего, что на нем написано. Сейчас я говорю только об одном срезе и говорю достаточно примитивно. Вот эта область — мне не хочется сейчас называть ее философией филологии, слова звучат архаично. Вообще слово «филология» звучит архаично. Недавно случилось читать одну из полемик в журнале, по-моему, в «Новом литературном обозрении», люди говорят: «Да нет там филологии, ни в английской, ни во французской культуре — в том виде, в котором она была в Германии и в России, и отношения нет к филологии как к науке о слове». И в том, и в другом случае это всегда связано с критикой, а это совершенно другой модус обращения со словом. Сейчас не буду говорить об этом подробно, но вообще тема очень интересная, этот пропуск филологический в некоторых культурах, он имел очень большие следствия, в том, как культура дальше развивалась, что она считала своей тематикой, что не своей. Мы с Гаспаровым когда-то собирались написать маленькую книжечку на тему «Философия филологии», и у нас был такой спецкурс, маленький спецкурс. Но не получилось потому, что он всегда требовал жестких определений, а я не была готова их давать. Но, может быть, я все-таки соберу какие-то остатки и маленькую книжечку сделаю. И то, что я делаю сейчас, мне кажется в большей степени филология и в широком смысле материя языка, нежели это было раньше.

Отвечая на ваш вопрос: наверное, так и получилось, что я из 70-х годов в 2000-е перенесла что-то, что в меньшей гораздо степени было в 80-е годы, когда я занималась теориями рациональности и придумала теорию рациональности, которая в себя включала и рассудок, и рассудочные элементы, и интуитивные, как бы хорошо, если рациональность была бы такой емкой! Там языка было меньше.

Работа после защиты

С.П.: Кстати, давайте перейдем к следующему этапу. Вы написали диссертацию. Книжка достаточно быстро написалась на этом основании?

Н.А.: Да, я на этом основании защитилась в 73-м году, а книжка написалась в 74-м, но смогла выйти только в 77-м.

С.П.: А что происходило с вами, пока она лежала и ждала своего часа?

Н.А.: Дальше у меня довольно много было написано по новым темам... Какой-то период я продолжала следить, что происходило с этими замечательными фигурами, то есть с Фуко прежде всего. Фуко развивался, и мне все это было видно. Это потом я сказала — не хочу быть хвостом, меня это больше не интересует. Но в 78-м году у меня вышла статья, которая была посвящена следующим его работам, другому циклу, не археологии, а генеалогии. Происходило прямое отслеживание, прямое отображение. Сейчас я смотрю на это и удивляюсь. И несколько статей было написано по Лакану. После тех статей, которые легли в основу диссертации, а потом книжки, я продолжала смотреть, что дальше там делается. А там разворачивались целые траектории, жизненные пути. Я потом для себя построила классификацию трех периодов Фуко, где археология, генеалогия, эстетика существования... кстати, кто-то ее оспаривал, эту классификацию. Я ниоткуда не брала это — я изучала. Когда-то это было очень нетривиально — описывать его таким образом. А куда это все шло... у Григоряна в секторе были сборники по тем или иным периодам и вообще по современной западной философии, тогда она называлась буржуазной...



И тут же произошло важное для меня расширение на проблематику бессознательного, которой я до того все-таки занималась мало. Это был Тбилисский конгресс по вопросам бессознательного, его функций и методов исследования, где я была пленарным докладчиком — можно считать, вместе с Романом Якобсоном, которому была представлена.

С.П.: Давайте поговорим об этом. Это был какой-то поворотный момент?

Н.А.: Это был поворотный момент в том смысле, что я предъявила себя международному сообществу, главным образом французскому. И получилась такая великая странность, что моя французская завязанность в большей мере, чем это того стоит, строится на психоанализе. Потому что там была огромная группа психоаналитиков и лаканистов разных мастей. И поскольку я выступала, а доклад у меня был хороший, впечатление у иностранных коллег сложилось такое: человек вот про Канта, про Лакана что-то разумное говорит, оказалось, что они (советские ученые) не под деревом сидят... что-то в этом роде. Тут мне уже казалось, что эти комплименты явно преувеличены, но большое количество знакомых у меня появилось в связи с этим конгрессом.

Немного раньше я познакомилась с Леоном Шертоком, он как раз не психоаналитик, он антипсихоаналитик, специалист по внушению и гипнозу, который был очень заинтересован в отношениях с Россией, издавал здесь несколько своих книг, одну из которых я переводила. Он вместе с Бассиным реабилитировал проблематику бессознательного после всех идеологических кренов, они вместе готовили этот конгресс. И разные другие люди. Меня потом, через десять лет, пригласили на важнейший конгресс «Лакан и философы» — для Международного философского коллежа в Париже это было знаковое мероприятие в 1990 году. Оно было в огромном зале заседаний ЮНЕСКО. После него я проснулась знаменитой — в скандально французском смысле, я немножко об этом пишу в своей книжке про Деррида.



Там на меня нападали люди, которым было неприятно, что какая-то тетя из марксистского лагеря рассказывает что-то такое про Лакана и совсем не то, что они считают, надо было бы рассказывать.

В общем, мое участие сначала в Тбилиском, а потом и во французском конгрессах продолжает меня «преследовать». Я могу сейчас встретить кого-то в гостях во Франции, и мне говорят: «Ах, это были вы!» Для того чтобы объяснить этот эффект, надо объяснять способ построения интеллектуальной жизни во Франции, где какой-то слой людей ходит, слушает, знает. Плотность участвующих в таких мероприятиях очень высокая. По крайней мере, так было.

С.П.: По крайней мере, событийность.

Н.А.: Мои две близкие подруги (которые потом стали близкими) были тогда в зале. Мераб Мамардашвили, он, очевидно, в зале тогда тоже был. В день моего выступления в Париже они встретились с Сарой Коффман — впервые — и рассказывали друг другу, что слышали замечательный доклад. Это показывает, насколько плотно сплетена ткань социальных и интеллектуальных взаимодействий.

С.П.: А в Советском Союзе этого не было?

Н.А.: По крайней мере, я этого не чувствовала. О своих достижениях я здесь никому не рассказывала, тогда это совершенно не надо было делать. В Тбилиси меня попросил Мшвениерадзе: «Пожалуйста, не давай интервью». Ну что ж, я и не стала давать интервью, ходила, гуляла по городу.

С.П.: В сравнении с Францией советская интеллектуальная среда была другая? В 90-е годы, наверное, все изменилось?...

Н.А.: Скажу честно: 90-е годы для меня прошли на чемоданах — я очень много времени проводила во Франции. И я очень многие важные события новейшей российской истории, в частности, расстрел Белого дома, смотрела из Парижа. Поэтому я как раз об этом периоде знаю меньше и чувствую это как упущение — я тогда больше бывала за рубежом. Формально не больше, просто была сложная ситуация и семейная, и всякая. Получалось так, что это действительно была жизнь на две страны, жизнь между одной ситуацией и другой ситуацией. Что касается советских времен, я, безусловно, помню как поднимающие дух все-таки и лекции Мамардашвили, и лекции Аверинцева. Также, может, и Александра Михайлова, когда он переводил Хайдеггера и делал типа маленьких отчетов или рассказов. Это было в помещении Пушкинского музея. Я это слушала, это было интересно. Хотя Аверинцев скорее транслировал ощущение причащения к чему-то значимому, нежели показывал путь, как к этому подойти. Это больше был соблазн для людей, что можно приобщиться к чему-то духовному без черной работы.

С.П.: То есть скорее своеобразные светочи возникали?

Н.А.: Да, вот я там был, вот я это слушал — но на самом деле...

С.П.: А в рамках сектора было возможно — не в рамках институтских или межинститутских событий, а именно в рамках сектора — возможно вести острые дискуссии?



На XXIII Всемирном философском конгрессе. Афины, 4—10 августа 2013 г.. В двух нижних рядах слева направо члены делегации от Института философии РАН: Н.А. Касавина, И.Т. Касавин, В.А. Лекторский, В.С. Степин, Н.С. Автономова

Н.А.: В рамках сектора да. Я вот что хочу сказать: как и сейчас отчасти, но, может, и в большей степени, тогда происходили очень содержательные обсуждения. Замечания, которые, например, Никитин делал

на поданную мной монографию по рациональности, это было очень значимо и ценно. Я все время помню волнение — что скажут? Прекрасным читающим был Швырев, когда он был в форме, если ему понравилось, он всегда похвалит, и это будет один из маркеров того, что написано важное, и Трубников конечно... Это не имело формы семинара, например, секторского семинара. Но уровень секторского общения для меня всегда был очень важен. Обычно это имело такую форму, какую я уже воспроизводила чуть ранее: в рамках традиции, которую я не разделяю, это отлично, но мне кажется то-то и то-то. И именно в таком виде ты и принимал все сказанное к сведению.

С.П.: Но это тоже все-таки другое. Это разные люди с разными специализациями, с разными направлениями. А вот когда вы попали в среду людей, которые занимаются теми же предметами, теми же материями, что и вы, тот же Тбилисский конгресс, этот момент был важен или нет?

Н.А.: Я не знаю другой такой области, практики познания более разорванной, чем психоанализ. Конечно, в тот момент я этого не понимала. Это я поняла позже. Тбилиси — это был 79-й год, потом были 80-е годы, я сейчас о них не говорю, 90-е, когда я была много в Париже. Насколько много разных тенденций, насколько они несовместимы, насколько получается раздрай школ и подходов, тенденций — и внутри лаканизма, и шире — Лакан и другие течения, насколько внутри этого течения было много сделано на разрыв! У меня была наивная мысль, что я сделаю сборник, соберу работы разных людей, психоаналитиков французских, потом переведу или закажу перевести и издам. Мне сказали: «Ты что? Как такой-то согласится стоять рядом с таким-то в сборнике?» Для меня это было шокирующим, пока я не поняла, что это узко существующие группы и группки, которые внутри себя в основном существуют, и что о попытке чего-то универсального даже не может быть и речи. Получалось так, что те люди, которые близки по проблематике, по материалу, они совершенно иные по подходу. Скажем, это связано с такой талантливой группой — Рыклин, Подорога и другие. Формально это мог быть тот же материал, но обрабатывался он в другой перспективе, с другими подходами. А я оставалась в своем секторе теории познания с таким материалом. Это редкое стечение обстоятельств, что в секторе теории познания сидит человек, занимающийся постмодернизмом. От этого много непонимания: как это можно внутри теории познания заниматься постмодерном? Со всех сторон это непонятно.

С.П.: Психоанализ, откуда он возник? Откуда эта тема стала развиваться?

Н.А.: Очень, очень давно, когда была в университете, там была такая профессорша, она занималась английской литературой, она посоветовала мне посмотреть работу Айрис Мердок. У нее была книжка «Сартр — романтический рационалист», это тоже был один из импульсов к философии. Но экзистенциальная и психоаналитическая подоплека, она там была, конечно, очень сильная. Я помню, тогда я просто все читала по-английски, что могла в Иностранной библиотеке. И у меня был домашний... ну нет, не семинар. Я просто рассказывала Васе Лобанову и его друзьям композиторам, что могла, о Фрейде...

С.П.: И как потом вновь это возникло?

Н.А.: Потом в связи с Лаканом тема попала в другую языковую обойму и уже могла быть увязана с интересом к гуманитарной эпистемологии. Собственно, я и пыталась проводить — это французам и не нравилось в моем докладе — я пыталась проводить идею, что у Лакана был явный период скорее эпистемологический, прежде чем больше проявилось этико-политического, но у них были свои собственные способы восприятия.

С.П.: После Тбилисского конгресса как дальше пошло? Как это на вас повлияло? Общение с иностранными коллегами дальше развивалось?

Н.А.: Нет, я развивалась тогда сообразно собственной логике и секторской логике. Я довольно долго следовала за кем-то. Мне это надоело, и я решила сменить материал, это не была смена полностью, но, по крайней мере, французского материала в моей докторской диссертации мало. Рассудок, разум, рациональность, рациональность как теоретико-познавательная проблема — я на это шире посмотрела, за рамками структуралистской интерпретации, Рикера я довольно много читала. Жалею, что не написала

ничего о нем в тот период. Вообще, имейте в виду, надо все делать, когда хочется, потом это что-то, что не сделано, оно уже никогда не будет сделано. Скажем, мне хотелось написать книжку о психоанализе тогда и хотелось написать что-то о Рикере, но какие-то шансы исчезают и возникают другие.

С.П.: А тема рациональности, как она возникла?

Н.А.: С одной стороны, она всегда была со мной, с другой стороны, это был такой период, когда абсолютно все писали книжки о рациональности у нас в секторе. Поэтому это было наше коллективное творчество. Тема рациональности была связана для тех, кто работал в позитивистской и постпозитивистской традиции, с ее эволюцией. А я с другой стороны подошла ко всему этому. Это было мое слово, которое я тогда сказала, и посчитала его допустимым, чтобы защитить в качестве докторской.



Я помню эту смешную мысль, что когда я защищу докторскую диссертацию, я буду такая богатенькая, критерий у меня был такой: это зарплата водителя автобуса, 400 рублей. Но потом, в конце 80-х годов, это все рухнуло с такой страшной силой....

С.П.: Вы защитились в 1988-м?

Н.А.: Да, в 1988-м я защитилась, в 1989-м было утверждение. Все стало разваливаться в то время.... Во Франции я была 1986 году очень кратко, а до этого меня не выпускали.

С.П.: А вот то общение, которое было в Грузии, оно продолжалось? И как это было возможно?

Н.А.: Оно прямо не продолжалось никак. Шерток, который часто был здесь, Бассин меня очень поддерживал. И все-таки я очень хочу, это мой долг написать об этих замечательных людях, о том, что они сделали в интеллектуальной жизни страны. Каких-то новых контактов французских у меня не появлялось, но у меня параллельно были и другие контакты. Скажем, в тот же самый год я получила впервые посылку с книжками от Деррида, и что-то мне привез Шерток. Одно из первых писем, которое я цитирую в книжке [«Философский язык Жака Деррида»], оно чуть ли не сентября 1979 года. Так что это структуралистский и постструктуралистский пласт... Я пару раз написала Фуко, у меня есть его ответы. Сейчас это все уже находится в архивах.

С.П.: Вы предвосхитили мой вопрос. Для нас сейчас это вполне естественно, что если ты занимаешься каким-то ныне живущим зарубежным философом, ты можешь с ним спокойно контактировать. С Фуко было ли такое общение?

Н.А.: С Фуко — нет, поскольку меня не выпускали, а он уже умер, когда я впервые попала во Францию.

С.П.: А письма?

Н.А.: Были, но нужно было, конечно, разговаривать. Я помню, что я с Делезом разговаривала по телефону, потом он тоже умер. Когда я оказалась на тех территориях, единственным, кто был жив и чьи работы для меня были значимы, был Деррида. А я до сих пор не понимаю, почему меня не выпускали. Это надо было идти в райком с приглашением. Шерток дает мне приглашение — просто в гости. А они говорят: «Нет, не видим необходимости». Ну а потом я перестала даже пытаться. А в 1986 году это произошло. Все равно умные люди пытались как-то эту стену преодолеть, но общения никакого не было. Скажем, между Институтом философии и какими-то людьми во Франции. Была и сильная идеологизация восприятия людей [из СССР] во Франции: скажем, считалось, что ехать в страну, где психушки, невозможно. Поэтому и Тбилисский конгресс бойкотировали очень многие. Но были люди, которые считали, что в любом случае они разговаривают с людьми и поэтому в любом случае надо ехать. И небольшая группа — кстати, и Ивон Брес, который придет в конце мая сюда, он будет выступать в Институте философии (это тоже мой контакт и давний приятель с тех пор, когда он приезжал когда-то участвовать в Тбилисском конгрессе), он приезжал в институт вместе с Шертоком, Изабель Стенгерс,


Мишелем Анри, который был потом вознесен на соответствующий пьедестал как неофеноменолог, исследовавший аффекты и прочее, прочее. А дальше получалась раскрутка каких-то связей, которые уже наметились. Скажем, когда в период начала перестройки западные интеллектуалы были очарованы тем, что происходит в России, стали искать способы привлечения к себе российских специалистов, я была одной из первых в той группе — это называлось «преподаватель на неполную нагрузку» (professeur à temps partiel, программа PAST). Это был трехгодичный контракт — по распоряжению французского Министерства образования: один математик, одна лингвистка и ваша покорная слуга. В тот момент в этом как раз участвовал Ивон Брес, который руководил подсекцией эпистемологии в Университете Париж-7. И я там осталась на три года, то есть я там могла находиться шесть месяцев, там свои были сложности, связанные с визой и т. д. И это был невероятно сложный педагогический опыт.

С.П.: Какие это были годы?

Н.А.: Это была середина 90-х, между 93-м и 97-м.

С.П.: Давайте вернемся чуть назад. В 86-м году — это была первая поездка?

Н.А.: Это была моя первая поездка во Францию. Игорь Смирнов, который умер уже давно, был ученым секретарем отделения философии и права, и давно пытался пробить стену такого нежелания контактировать.

 **И французские интеллектуалы, и сам Деррида, никто не хотел особенно участвовать, потому что французские идеологические критерии таковы, что если ты будешь общаться с кем не надо, это считается очень зазорно.**

Но Игорь Смирнов убедил всех в том, что это хорошая инициатива. И пригласили небольшую группу людей, чтобы это был семинар на тему «Науки о природе, науки о душе и психика». И вышла книжка небольшая. Туда поехал Караулов, теперь покойный, директор Института русского языка, с французской стороны участвовал как раз Ивон Брес, участвовал Мишель Анри. Это был пробный шар, удивительное событие. Когда люди думают, что контакты начались сами собой и как-то сами собой получились, это неправда.

С.П.: Это были обоюдные усилия?

Н.А.: Это были обоюдные усилия, причем нужна была смелость с обеих сторон. Чтобы тебя не заклевали там и здесь. Это ситуация, когда умные и смелые люди взаимодействовали, что-то пробивали.

С.П.: Отношение там, во Франции, как вы его ощущали?

Н.А.: Все равно я общалась — мы сейчас говорим о 1986 годе — туда еще приехали несколько коллег, которых я знала по переписке, — Патрик Серио из Лозанны (я точно не помню, был ли он тогда уже в Лозанне), известный специалист по русской культуре, языкознанию, его книжку я потом переводила. Меня там удивило, что специалисты по советской культуре хорошо информированы, и цитируют, и меня спрашивают: а как вы в такой-то своей работе рассматриваете то-то, а вот здесь вы Фуко подали так... В тот период те, кто пришел на семинар, были заинтересованными людьми. Хотя — это так всегда бывает — был «провокаатор». Но Игорь Смирнов был тогда на высоте, и все обошлось. Познакомилась я тогда же с Пьером Нора, директором книжного издательства «Галлимар». Он был руководителем серии «Места памяти» — это важное ответвление историографической проблематики. Но какие-то непростые вещи были, конечно.

С.П.: Но тем не менее это было рабочее событие, как говорят.

Н.А.: Безусловно. Потом маленький семинар был в 89-м году, совсем уже незаметный, а в 90-м году

конгресс «Лакан и философы». И вокруг него были уже разные другие поездки, в том числе в Дублин.

Вообще Париж, если в нем находиться, продолжал тогда еще быть центром мира. Крупнейшие американские философы проводили там свой творческий отпуск. Кого я там только не видела — Роберта Коэна, Маркса Вартофского, Иана Хакинга, который потом в Коллеж де Франс читал лекции. И там же проводило одно из своих заседаний Международное общество теоретической психологии, которое Владислав Александрович Лекторский очень ценит, ну, по крайней мере, читает их издания. В Париже было одно из первых заседаний этой группы, с которой я потом как-то сблизилась и на нескольких их конгрессах (в Берлине, Оттаве и потом в Стамбуле) выступала. Это всегда было очень интересно потому, что там были такие неортодоксальные психологи — интересовались историей, интересовались русским наследием — и Выготским и Бахтиным. А фигуры эти — Герген, Шоттер и другие — на слуху и сейчас, а прошло двадцать лет.

С.П.: Вот это развитие от 80-х к 90-м годам на уровне международного общения, не внутри страны, как оно дальше шло?

Н.А.: Там уже доминанта была западная, просто по фактуре моего существования. В тот период, я помню, было несложно, а сейчас это было бы просто невозможно — жить с таким графиком, который у меня тогда был. Но в то время Вячеслав Семенович Степин был директором, он говорил: «Можете находиться там, где вы находитесь, я знаю, кто работает, а кто нет. Самое главное, чтобы вы выполняли план, привозили то, чем можете отчитываться и т. д.».

И вот как раз в этот период между двумя домами, между «ни там и ни там» или «там и там», стал развиваться собственно интерес к практическому переводу и к работе, которую я для себя условно назвала «выработка русского концептуального языка». В частности, одним из следствий Тбилисского конгресса для меня стала публикация книжки Шертока «Рождение психоаналитика», которая была переведена мной, по-моему, в конце 80-го года, а вышла в 91-м. Почему она вышла с задержкой, наверное, сейчас понять трудно, но тогда было невозможно выпустить книжку, в названии которой стояло бы слово «психоаналитик». Вот это еще более невероятно, наверно, чем любая коммунальная квартира, бараки или еще что-то такое. (*Смеется.*) Слова «психоанализ» было достаточно, чтобы она была непубликабельна. Более того, Шерток (а книжка была Шертока и Ремона де Соссюра, сына Фердинанда Соссюра) готов был изменить заглавие, например предлагал: «Одиссея психотерапии». Он говорил: «Да, я согласен, уберу». Но как только редактор брал книгу и видел там «одинокие практики», подразумевавшие мастурбацию, — все, это значило: невозможно. Вот такой был период. У меня несколько лет ушло потом на перевод «Словаря [по психоанализу]» Лапланша и Понталиса.

С.П.: Это были какие годы?

Н.А.: Книжка вышла в 96-м. Я ее года четыре переводила, времени ни на что не было, это делалось урывками.

Преподавание за рубежом

С.П.: Немножечко поясните поподробнее: с 86-го года — включение в международную деятельность, по нарастающей. 90-й год — событие, посвященное Лакану. Как дальше? В связи с внутренней ситуацией в стране Институт философии был в тяжелых условиях, да? Как вы существовали как исследователь? Как вы работали? Как ваша жизнь складывалась в эти годы?

Н.А.: Во-первых, три года преподавания во Франции — это не значит, что три, и все. Когда я смотрю свой послужной список здесь и там, получаются десятки курсов. Для меня это было тяжелейшее преподавание на всех уровнях университетских, начиная с первого курса — начинающий, сейчас уже не такие классификации, первый, потом лицензиат, и потом, условно говоря, то, что соответствует магистратуре. Каждый год разрабатывалась программа, по которой я должна была готовиться. Я не знаю, как мне это удалось вынести. Например, для начинающих у меня был спецкурс по психической болезни в русской

литературе. Это будущие психологи, так что это было им очень интересно. По Достоевскому, по Чехову, по Гоголю. На лицензиат у меня была программа по истории идей — истории философских идей в России, рассказывала что-то, связанное с российской проблематикой, пыталась это делать потому, что это было очень сложно, никто не обязан слушать, это не русисты, им это не надо. А я им говорю, как умею, по-французски. И я им должна говорить, вписываясь в их представления, а с другой стороны — чем-то их заинтересовывая.



Н.С. Автономова и А.А. Гусейнов. Институт философии РАН, 2013 год

С.П.: Это тоже был подвиг. Почему вы на него пошли? Какая была мотивация?

Н.А.: В данном случае это означало зарабатывать деньги, которые посылались сюда. И, в общем, это называлось «мужик на отхожих промыслах». А кроме того, это предполагало условия работы, что я сижу взаперти в маленькой комнатке и перевожу Лапланша и Понталиса, два года почти, в свое свободное от преподавания время. А потом уже получилось так, что я взяла свою дочь, когда ей было двенадцать лет, и помогала ей как могла продолжать образование. Это тоже было довольно сложно.

С.П.: Во Франции?

Н.А.: Во Франции. Я сказала про программы, а в магистратуре, те два курса, которые для меня были наиболее значимы, — один из них «Павлов и Выготский», я придумала такую концепцию специфики русской психологии. И еще тема, которая меня опять к моим интересам подводит, — курс лекций, который некогда Якобсон провел по-французски в Нью-Йорке — «Шесть лекций о звуке и значении». Именно прослушав эти лекции, Леви-Стросс возгорелся мыслью, что надо развивать структурную антропологию. Об этом я рассказывала с большим пафосом магистрантам. Все то, что касается этого десятилетия, которое для меня больше французское, нежели российское (по крайней мере, в моем сознании, потому что я, наверное, вытесняю российскую часть жизни, во многом для меня сложную), помогло мне накопить

достаточно много опыта. Наверное, я не могла бы с уверенностью сказать, что из этого стоящее, а что — нет. Тут довольно много опыта, связанного с тем, как проводить экзамены, чтобы было меньше блата, как защищать диссертации, чтобы было больше толку.

Поскольку у меня есть опыт участия в качестве члена жюри в защите во Франции докторских диссертаций, я могу кратко рассказать о том, как устроена эта система. На самом деле нет, конечно, никакого большого совета, потому что в большом совете всегда сидят неспециалисты. Университет, к которому вы прикреплены, выбирает четырех-пятерых ученых, которые высказывают мнения об этой диссертации; а потом диссертанту дают не просто корочку, в которой будет написано: диссертация защищена, и все, а дают приложение, в котором написано, что вас спрашивали, что вы отвечали. И тут две стороны, с одной стороны, это замечательно, потому что это содержательный элемент, и кто защищался плохо, тот защищался плохо и, значит, это будет у него написано, но бывают случаи необъективности, а я такие случаи видела, и потом это очень сложно. Например, дочь известного французского философа Франсуа Ларюэля Марлен защищалась по евразийству, а в жюри сидел Патрик Серио, который, будучи специалистом, набросал ей слишком много замечаний, и она в течение последних десяти лет, что я ее знаю, не могла устроиться на работу нигде. Она была в Казахстане, в США. Но я хочу сказать, что уровень оценки диссертаций предполагает, что ты отвечаешь за это головой и ты получишь содержательный документ в свой послужной список. А то, что я видела по моей дочери, по моим собственным наблюдениям, — можно поэму писать о том, как проводятся экзамены — в средней школе, где моя дочь получала аттестат зрелости (бакалавриат по-французски). Так вот, если ты учишься в одной школе, то сдаешь экзамены в другой, а проверяют тебя в третьей. Никаких имен, никаких фамилий — только номера. Могу, таким образом, давать практические советы, какой-то педагогический опыт у меня накопился.

С.П.: Вы не пробовали его как-то здесь внедрять?

Н.А.: Я не пробовала. Это совершенно особая песня. Мне трудно с преподаванием. Я честно сказала, что преподавание для меня было способом заработка.

С.П.: А не было ли какой-то отдачи профессиональной от самого процесса преподавания?

Н.А.: Вы знаете, отдачи достаточно мало и там, и здесь. Количество толковых людей одинаково.

” Если в группе тридцать человек и двое сильных — это нормально везде — и там, и здесь. Заметила гораздо большую мотивацию среди приезжих. Замечательные были девицы из стран Магриба у меня в группе.

Ситуации были разные. У меня была очень хорошая одна девочка, которая записалась в «котюгель» по странной теме — «Фуко и Бахтин». И она делала попытку защитить диссертацию, но личные обстоятельства жизни не позволили ей закончить... Но в целом преподавать мне трудно, мне всегда неудобно спрашивать людей, когда я не знаю, знают они или нет. Ловить на незнании мне их не хочется, потому что я сама знаю, что многого не знаю. Гаспаров в свое время говорил так: «Я прошу студентов, чтобы они сами задавали мне вопросы, и по тому, что и как они у меня спрашивают, я могу судить о том, что они знают». Это был бы особый способ, но так я не делала. У меня всего было три аспирантки, одна из них была слабая — она защитилась нормально, одна совершенно блестящая в РГУ, но она просто не стала защищаться, решив, что не надо ей это, — она поступила в аспирантуру, чтобы со мной обсуждать разные темы, она могла бы хоть завтра защититься, хорошо знала языки, она филолог-классик. Это было, когда я вернулась из Парижа и читала здесь пять лет в РУДН спецкурс по постмодернизму, хотя я считаю, что как таковой философии постмодернизма нет, это нечто иное. Тогда я убедилась, что лучшие студентки потом уходят на оплачиваемую работу, даже после того как они побывали во Франции, прошли стажировки. Меня очень расстраивает, когда студенты в какой-то момент кланчат оценки. Это печальная

часть. Для меня это тяжело, я считаю, что от меня больше толку, если я что-то делаю сама, чем если я преподаю.

С.П.: Эта жизнь на две страны, она все-таки имела какой-то рубеж, когда вы вернулись и стали жить скорее в России, чем во Франции?

Н.А.: Еще был период — практически целый год — преподавания в Швейцарии. 2000/2001-й. На сей раз на кафедре русистики, куда меня пригласил в качестве преподавателя Патрик Серио. Одна из моих студенток была Дельфин Юзер — из герценовского рода, она писала по теме вокруг Бахтина, Волошинова, языка, перевода. А я читала им длинный спецкурс по Бахтину и по Лотману. Серио — давний коллега по методологии гуманитарного познания, в данном случае лингвистики. Кроме этих лет, все «нулевые» я живу в основном в России. Были еще по несколько месяцев периоды преподавания за рубежом, но в основном я тут. На самом деле это постепенно происходило.

С.П.: Небольшой уточняющий вопрос. Получается, преподавательская деятельность — это в основном за границей?

Н.А.: Да.

С.П.: Несмотря ни на что, общее ощущение удовлетворения у вас осталось?

Н.А.: Да, в общем, осталось, конечно. Мы не знаем, какое впечатление, на кого и когда произвели. Хотя сама задача, все говорят, должна формулироваться так, что вы там преподаете, либо полагая что-то французское, либо русское. Нет, и ни то, и ни другое, а скорее темы, которые априори и нам-то не очень понятны, — тут и Выготский, и Павлов, или соотношение Павлов — Выготский. И поскольку это такой странный сюжет, приходилось что-то придумывать, и я не знаю, как бы отнеслись к этому здешние профессионалы. Невероятные упражнения на понимание. И невероятные упражнения на заинтересовывание иной аудитории.

С.П.: Вы сказали, что процесс вашей преподавательской деятельности в разных европейских учреждениях плавно закончился по вашей инициативе?

Н.А.: Так получается. Кроме того, в европейских странах невероятно жесткое таймирование карьеры и после шестидесяти пяти бюджетные места люди не имеют права занимать и максимум могут остаться на работе до шестидесяти семи. И ту ситуацию, которую мы тут видим, когда люди не только пишут, но и руководят кем-то, уже преодолев планку этого возраста, — это совершенно исключено на Западе. Когда я теперь езжу, меня приглашают на какие-то отдельные стажировки в условном смысле или конференции. Но приглашать меня в качестве преподавателя они не имеют права. Меня несколько раз хотели вновь пригласить по той трехлетней программе PAST, по которой я уже была приглашена, но тоже не имеют права. Так что сегодня это поездки, связанные с конференциями или подготовкой публикаций.

” А во Франции в самом лучшем случае кому-то оставляют кабинет, Деррида оставили комнатку на шестом этаже или на восьмом и паркинг. А кому-то и того не оставляют.

Если у кого-то есть докторанты — вы можете их довести, занимая должность почетного профессора, но потом — все, предел. В США иначе, там какие-то другие критерии, я говорю сейчас про европейские страны — про Германию, Францию.

С.П.: Получается где-то в начале 2000-х годов такая деятельность закончилась...

Н.А.: На самом деле я выезжала еще неоднократно, и у меня был достаточно большой преподавательский период — три и четыре месяца, по-моему, — в 2006-м в университете, который называется Новая Сорбонна — Париж-3. Но сейчас начался этап, когда официальные преподавательские периоды для меня

невозможны по французским законам.

С.П.: Наталья Сергеевна, назовите навскидку десять тем курсов, спецкурсов, которые вы читали в западных университетах.

Н.А.: Я все читала, какой смысл перечислять названия? Что текущее было, то и читала. Я довольно много читала и по Бахтину, и по Лотману из наших. Довольно много было на стыке российского и французского. Вот по тем русским темам, о которых я вам говорила. Скажем, в Международном французском колледже, где я вела семинары в течение четырех лет, рассказывала довольно долго — потому что это их интересовало — по теме «Мыслить в России сегодня». Я придумала какой-то свой вопросник, раздала его (в России!), очень забавно было собирать ответы, а потом делала на их основании какие-то выводы. Там же были семинары по переводу. Это, наверное, очень трудно было слушать — то, что касается российской ситуации и французской ситуации, проблем перевода — и теоретических, и практических. Неоднократно были лекции по Якобсону, по проблемам, связанным в том числе с ранним Якобсоном. Как правило, я старалась рассказывать то, что было для меня в тот момент живым, живую картину. Мы сейчас говорим о кратких курсах. Как правило, самый удобный формат — это месяц. А месяц — это означает четыре лекции по три часа. По бессознательному были такие курсы, по Андрею Платонову, еще вспоминается, был интересный доклад, связанный с лакановской тематикой. Если начинать вспоминать, получается очень много всего.

О проблеме перевода

С.П.: Что еще интересно: если в нашей среде понятно, почему проблема перевода с практической точки зрения очень важна, то как в европейских странах? Как для европейских ученых? Чем является проблема перевода для европейских ученых?

Н.А.: Важна, важна. И тем не менее какой-то радикально новый значимый рубеж — интеллектуальный, научный, экзистенциальный — четко обозначился в 90-е годы. А для России это, конечно, открытие себя Западу, неслыханное по сравнению с тем, как это раньше происходило. Ну а когда я участвовала в России в переводческой программе Сороса! Представьте, насколько ничего не было на русском, никаких текстов по современной западной философии, за исключением работ, скажем так, философско-научного типа, то есть Рассел мог быть или Карнап немного был, и Витгенштейн немножечко был, но всего остального не было. Поэтому, конечно, за последние двадцать лет переведено очень многое. Это было необходимо.

Вообще, насколько я знаю, потому что сталкиваюсь с людьми из других бывших социалистических стран, идет тенденция на обособление языков. Одна аспирантка из РГГУ — хорватка, так вот, по ее словам, хорватский язык стал отдельным языком, который, отчасти как украинский, всячески педалирует и утверждает себя в качестве отдельного языка. Процесс, который необходим в силу тех или иных обстоятельств. Это, конечно, важнее для тех стран, для тех языков, которые приобретают собственную идентичность. Это гораздо в меньшей мере касается англоязычных стран, которые считают, что пусть все с нашего языка переводят, а мы подождем так сильно беспокоиться.

С.П.: Пусть говорят на нашем языке.

Н.А.: Да. Один ехидный человек, не помню сейчас его фамилию, говорил о том, что пусть — это еще им аукнется.

” Не только тот, кого переводят, но, главное, кто переводит в конечном счете выигрывает. Так что если они не будут переводить сами, не будет притока необходимого и нового в их язык, потому что каждый перевод дает удивительные вещи.

Не только какие-то содержания, которые путешествуют отсюда — туда. Но и переосмысление тех средств, с помощью которых мы что-то такое можем брать. Язык меняется, когда мы пытаемся передать содержание посредством той или иной единицы родного языка. В результате мы либо нагружаем ее новым смыслом, либо меняем ее смысл вообще. Страшно интересные процессы.

С.П.: А проблема перевода как философская проблема у вас возникла в какой момент?

Н.А.: В 90-е годы, конечно. Когда это действительно приобрело для меня универсальный смысл. И как понимание и непонимание, и как контекст возможного взаимодействия культур, и как возможность понятным образом объясняться с моими французскими студентами, которые не филологи и не слависты. Им нужно было, чтобы понимание шло на каком-то другом уровне, специально стараться они бы не стали. И как раз в этот период, в связи с тем, что в 90-е годы из-за такой разрозненной жизни сложно было писать что-то свое, невозможно просто, я взялась делать большие переводы — это было возможно, чужое потому что содержание уже есть, в него можно войти в любой момент. Вот я перелетела из Парижа в Москву или наоборот, открыла следующую страницу и перевожу дальше. То есть то, что я эту мучительную работу с Лапланшем и Понталисом сделала (она довольно скучная), на самом деле совершенно не жалею, это замечательный словарь. Был замечательным и остается замечательным, и я счастлива, что удалось сделать второе издание и в него внести и изменения какие-то, и новое введение, и дополнительный материал для справки, и полный список всего, что есть, чтобы читатель сразу расшифровывал все сноски и т. д. Я также очень довольна послесловием, которое написала, — про уже существующие западные подходы к полным переводам Фрейда. Параллельно долго тянулся, из-за того что я преподавала, и перевод «Грамматологии», вышедший в 2000-м году. Первая вышедшая в России работа Деррида была «Шпоры: стили Ницше» в 96-м. Больше не было никаких его работ — более внятных и более классических. А потом они все вышли почти одновременно. Мне ужасно хотелось как-то внятно сделать. В качестве порицания мне, порицания моей работе, можно рассматривать (хотя на самом деле это не было порицанием), когда Нелли Васильевна Мотрошилова как-то сказала мне такой комплимент: «У тебя прямо Толстой». Она имела в виду, что внятно и по-русски. Наверное, можно было бы сказать, что это плохо, или что это неправильно, но я могу сказать так: пусть другие сделают другие переводы.

С.П.: Это ваше прочтение.

Н.А.: Да, а другие могут предложить свое. Я несколько раз объясняла в ответ на критику, что количество единиц, которые подлежат другому переводу, не терминологических, а, условно говоря, стиливых, очень большое: установить переключки одного с другим и т. д.

” Абсолютно все перевести нельзя. Кто не переводит, тот не знает: перевести оригинал полностью невозможно. Это всегда выбор, это всегда селекция того, что считаешь основным.

И если ты честно себя ведешь, то ты читателю говоришь, чему ты отдавал предпочтение, и ты даешь ему свои эквиваленты, а не прячешь их. Потому что потом никакой критик никогда не догадается, что ты и как переводил и не будет проверять. А другие переводчики, которые выберут другие эквиваленты, будут смотреть проще: ты выбрал этот, а я предпочитаю другой. Может, я сама сделаю другое издание, мне хотелось бы что-то изменить. Прошло уже почти пятнадцать лет. Идет срок быстрого устаревания потому, что сейчас язык динамичен, — я имею в виду русский концептуальный язык, особенно связанный с западной философией. Он динамичен, в нем что-то принимается, что-то не принимается, что-то называется иначе, какой-то поиск идет своих форм, иногда уродливый. Это как раз период очень интересный и редкий. В начале эпохи Петра I был, в начале XIX века, в начале XX века, а сейчас более мощно все это идет в связи с распадом советской империи.

С.П.: Получается, как волны такого закрытия и открытия?

Н.А.: Да. И вообще Миша Розов называл это некрасивым словом «куматоид». Я думала, ну зачем это слово «куматоид»? Образ волны, но ведь смыслы совершенно другие, то есть вширь, или вглубь, или на экстенсивный какой-то охват, или, наоборот, интенсификацию чего-то, иначе и быть не может, это как дыхание. А сейчас понимаю: это как человеческий жизненный ритм, и в культуре тоже должен быть жизненный ритм, охват и проработка. Очень часто поэтому получалось так в разных культурах, что сначала перевод делался абы как, а потом делался с большим вниманием к оригиналу, чтобы понять, что автор хотел сказать на самом деле. Сначала открывается то, что мы сами могли схватить, ухватить, а потом уже приходилось немножко поднапрячь свой собственный язык. В моем случае это, наверное, и то, и то. Я старалась поднапрячь свои средства, которые я выставляла как способные понять содержание. Мне бы хотелось не то чтобы сделать новый перевод, а немножко иначе на все это посмотреть.

” Перевод — это мощнейший стимул оживить жизнь языка, способность концептуализировать.

А эти два здоровых труда, то есть Лапланш и Понталис, и Деррида, а еще «Структура и целостность» Серию, они меня очень сильно подтолкнули. Тут в отличие от моей ранней переводческой работы, где речь шла о том, как другие переводят, я с себя сняла забрало — вот она я, вот как я могу. То есть это позиция хрупкая всегда, всегда можно найти то, что другому покажется иначе. Но главное — взгляд в целом: почему был выбран такой эквивалент, а выбирается он по десяткам критериев. Имеется в виду то, что касается терминологии. Очень часто говорят, что это не важно, зачем слова, это не то, надо смотреть синтаксис. Слова — это все равно некоторый опорный момент схватывания иного и для выражения, формализации. Совершенно неожиданно мне вчера попало какое-то высказывание Деррида: «Я уже читать не успеваю, но слова выхватываю как прожектором — здесь и там, здесь и там».

Ну а сейчас с переводом очень интересный вопрос поставлен — это вопрос непереводаемости. То же самое, что и с рациональностью, только сейчас все наоборот — ведущая точка зрения, что никакой рациональности нет и все непереводаемо. И тем не менее все упорно переводят и будут переводить. Я вместе с Рикером не пессимист в том смысле, что вавилонское проклятие — это не проклятие, а шанс, шанс вырабатывать то, что не дается само. Это то братство, которое не дается по крови. Какое-то отношение людей, которое требует огромных трудов. Когда-то я вела для себя картотеку неверных вариантов или ошибочных вариантов. Неважно, кто сделал ошибку, важно изложить — потому что русский концептуальный язык не имел ни Сартра, ни позднего Витгенштейна, ни Деррида, ни Фуко, ни многих прочих, потому что после «Слов и вещей» двадцать лет ничего не переводили, потом стали, и все это стало накапливаться — как развивался язык, как он искал, какие варианты предлагал.

С.П.: А когда вы вернулись и сосредоточились уже на этой деятельности, у вас был какой-то провал в восприятии института, с одной стороны, образца еще советского времени, с другой — такого, каким он предстал в 2000-х годах?

Н.А.: В течение 90-х, когда я приезжала и смотрела, что пишется, что делается, меня все время не покидало ощущение шока. Как вдруг стали все цитировать Бахтина, вдруг Бахтин и тут же Хайдеггер! Действительно, это не я придумала. Шел нелегкий поиск, и было очень трудно находить какие-то ориентиры. Какие-то фигуры стали служить скорее ключом к открытию проблемы, нежели реальным ее решением. Поэтому возникали такие вот микстуры. Бахтин и Хайдеггер — одни из самых цитируемых были. И такой антитеоретизм! А уже к началу 2000-х ощущение шока сгладилось. Может быть потому, что эти решения были заменены чем-то другим, фундированным и более существенным, с моей точки зрения. Может быть, я сама привыкла. Может потому, что я сама стала писать по-настоящему и начала думать, в каком языке и какими словами я это делаю. Конечно, большой перерыв тяжело переживался. В советское время было намного меньше продукции внутри сектора, не за дверью. К тому, как работали, что писали, внимание было, так сказать, умеренное. Нет, факт недружелюбия и враждебности к тому, что делалось, со стороны начальства был, но Лекторский отбивал всяческого рода нападки. Сейчас

ситуация иная. Она открыта вовне без враждебности, даже наоборот. Но слишком много социальной жизни и слишком много мероприятий, на мой вкус. Я не знаю, как это воспринимают молодые, может быть, им это несложно. Мне это мешает.

С.П.: А когда, на ваш взгляд, началось нарастание этих мероприятий?

Н.А.: Вот совсем недавно. Мне кажется, на протяжении последних четырех лет. Их все больше и больше. А параллельно еще растет количество администрирующих актов — план сюда, отчет туда. Когда совсем не было планов — это было неправильно. Но когда я еще в начале года должна писать, какие у меня результаты будут, — это что-то тоже неправильное. Это вынуждает к фикциям. Или как умные заведующие секторами советуют: вообще не пишите ничего или пишите самым размытым образом. Но сейчас никто не сопоставляет то, что мы писали вначале, и то, что мы написали в итоге. И потом мне кажется, что три листа каждый год выпуска — это много. Раньше котировалось то, что обсуждалось на ученом совете или в секторе как выполненная работа, а сейчас этого нет. Если ты новую какую-то тему поднимаешь, очень тяжело. То есть надо все время что-то куда-то забрасывать. А мне давно уже мой канадский приятель Уоррен Торнгейт (он социальный психолог, занимался специально вопросами принятия решений, математической статистикой и связанными с этим вещами) рассказывал, что выявил некоторую кривую, показывающую снижение внимания к автору с увеличением количества его публикаций, кривую понижения потенциального внимания.

” Чем больше мы пишем, тем меньше шансов, что нас кто-то прочтет. Но тут я, получается, и себя ругаю, потому что я много публиковала в последнее время. Но я долго не писала до того.

Собственное творчество

С.П.: А как произошел переход от переводов к собственному творчеству?

Н.А.: Я просто давно очень не писала ничего крупного. Писание крупного и мелкого имеет совершенно разные и импульсы, и энергетические затраты, и критерии. Иногда кажется просто — напишу статью. А в статье все видно на маленьком формате, прямо как под лупой. В книжке тысяча страниц — никто не заметит, что ты написал на пятьсот первой. А тут, если у тебя всего три тысячи знаков, каждое слово на вес. Удивительно, я думала, это касается только художественной литературы. Но нет, крупная форма тоже ведет себя как роман. У меня так было с «Открытой структурой». У меня было четыре фигуры — Бахтин, Якобсон, Лотман, Гаспаров — как они весь XX век, русскую и во многом западную культуру определили в своих областях. Какая-то императивность связана с обликом самих персонажей, и у меня в конечном счете получилась книжка «антиБахтин» — антинеправильное (размытое и культурно бессмысленное) использование Бахтина, попытка преодолеть тенденцию апеллировать к нему как отсылке в любой ситуации. Я была нацелена на то, чтобы постараться рассказать и понять, что действительно было сказано Бахтиным, вернуть ему значимость, а не что-то приписывать. Он не был моим центральным персонажем, но потом мне сказали, что это, конечно, книжка о Бахтине. Я считала, что центральный персонаж — Гаспаров, но нет, центральный персонаж — Бахтин. И об этом говорили несколько человек. Сначала я была в полном шоке, но потом подумала: может, это правда. Получилось, что даже те, кто его критиковал, и отчасти достаточно жестко, все равно не могли избежать того его присутствия в культуре, которое определяло в том числе и их подходы, даже если они были диаметрально противоположны его собственным. Удивительно, какие иногда получаешь реакции. Это был не столько переход к письму от перевода, просто очень долго накапливались темы, которые просили немножко иного формата.

С.П.: Курсы, которые вы читали?

Н.А.: Отчасти курсы, некоторые курсы. Собственная работа, которую я делала: обзоры, рецензии, статьи. Например, в книжке «Познание и перевод» очень многое сошлось, в ней есть много чего разного. И еще приход западного, конечно. Для меня это раньше началось: для культуры это началось в 90-х, а для меня еще в 70-х годах. Я опередила эту ситуацию ровно на двадцать лет, на самом деле побольше. Поэтому для меня это была продолжительная история. Когда пришли 90-е годы, у меня уже появился созревший импульс как-то об этом сказать. И параллельно тот процесс, который касался русской культуры и ее способа обращения с новым словом и западным словом. Я там прорыла все те ссылки, которые Шпет делал в «Очерке развития русской философии», сколько там собрано всего интересного и насколько это технологично, но это не прикладное — оно выходит на уровень самого существенного. Хотя и имеет вид прикладного. На самом деле почему философия перевода, философская проблема перевода? Потому, что современная мысль действует путем определенного рода переносов, трансферов, сдвигов содержаний как одним из способов работы с ними. И переход из одного языка в другой — это лишь один из способов такого переноса. Без этого вообще ничего не получается. То есть это как бы форма ухода из чисто субстанциалистского подхода в подход структуралистский. Это вопрос, связанный с отношением между разными вещами. Перевод предполагает этот модус релятивности. Тут слишком много разных аспектов, которые можно назвать. Якобсон говорит: «Внутри своего языка без конца идет перевод». Это — способность языка переформулировать, самого себя переводить. Именно это лежит в основе перевода из языка в язык. Парадоксальным образом сначала перевод без всякого перевода, а потом уже перевод, осуществляющийся между языками, а потом уже перевод между разными семиотическими системами, среди которых может быть и невербальная. Словом, такой вот чудовищный вопрос.

С.П.: Был какой-то промежуток времени, когда вы занимались преимущественно какими-то скорее философскими вопросами, и филология как бы не присутствовала в вашей деятельности. Потом она вернулась в связи с какой-то внутренней интенцией или в связи с внешними факторами?

Н.А.: Вы знаете, был еще один внешний фактор, о котором я не упомянула, а сейчас вспомнила. Меня взяли на полставки в Институт высших гуманитарных исследований (ИВГИ), теперь — имени Мелетинского. Это было в самом конце 90-х — в 97-м или 98-м. Это не значит, что там только филологи, даже историков больше, наверное. Но все-таки это место скорее филологическое, нежели философское. Я пыталась выяснять, зачем им философия. Там издаются книжечки желтенькие, они очень быстро расходятся, и там у меня был один из вопросов — зачем вам философия. Так или иначе, я оказалась вторично институализирована в ИВГИ, и там также на полставки был Михаил Леонович. Там были Мелетинский, Арон Гуревич, он уже почти не ходил на заседания, но когда они садились все вместе за стол... Ну, это внешнее. Ничто меня не заставило бы этим заниматься, если бы не собрались несколько ниточек вместе — работа по переводу и осмысление, что делается, когда мы переводим, как нужно переводить, как нужно относиться к наследию. Все отношение к наследию — это есть способ претворения того, что есть, в какие-то публикуемые формы.



Смешно, но теперь и Пушкина нужно читать филологически, его никто не понимает, его надо переводить, объяснять, составлять словарь. Этот выход из фокуса в культуре происходит очень быстро, и нужно много усилий, чтобы что-то оставалось живым.

Чтобы это было живым, нужна специальная работа. Эта линия — линия, связанная с анализом разного материала, анализом окружения — историками, филологами, а также с собственными переводами и с собственным прошлым, с волнением, а иногда недовольством, когда что-то получилось нехорошо в тех переводах, которые я сама делала, — там собралось все. Кстати, я не думала об этом, но меня удивило то, что между 70-ми и 2000-ми годами у меня такой получается альянс, а между ними было другое, в разном смысле другое, но какой-то подхват интересов, подхват проблематики есть. И к тому же настоящий период, связанный с проблемами последних книг, — завершение какого-то другого периода: был структурализм, потом постструктурализм, пусть это не философия, а методология.

Постструктурализм, который был назван постмодерном, а это совершенно не синонимы, этот период ощущается как завершившийся. Он ощущается вместе с тем как не принесший нового, как это ни странно: в отличие от начала XX века, когда была теория относительности или был выход в совершенно новую ситуацию с положительно новыми координатами, постмодерн — это игра с элементами старого. Так что здесь очень много сложного. Игра с элементами старого все равно предполагает какие-то новые конфигурации.

С.П.: Наталия Сергеевна, у нас была очень длительная, многосторонняя беседа. У меня есть завершающий вопрос, касающийся восприятия себя как ученого. Как самоидентификация происходила у вас как у филолога и как у философа? Было ли осознание до какой-то поры, что «я филолог», в какой-то момент сменившееся другим: «я философ»? Или вообще не было каких-то ситуаций приписывания себе ярлыков, что я «то-то» и «то-то»? Или возможно, это было скорее похоже на: «я просто исследователь, занимающийся проблемами методологии гуманитарного познания или, например, проблемами перевода»? Как в плане научной деятельности происходила идентификация себя?

Н.А.: Вы отчасти уже ответили на этот вопрос. Наверное, такого — «я философ» или «я филолог» не было. То, что у меня в дипломе написано «филолог», этим я гордилась, потому что в Институте иностранных языков писали «переводчик». Слово «филолог» для меня очень существенное.

” Слово «философ» по отношению к себе я не произнесла бы никогда, поскольку считаю, что это не профессиональная классификация и не так идентифицирующая человека, как можно внутри других профессий это сделать. Поэтому я бы сказала, что это **общейсследовательское состояние**

Другое дело, что оно может быть более комфортным и менее комфортным в своей собранности вокруг каких-то методов и предметов. То есть ту радость, которую я испытала, когда впервые стала делать что-то сама, а именно заниматься исследовательской работой, это я очень хорошо помню. Когда я смогла диссертацию по структурализму написать, что-то такое очень важное я прибавила. Но потом возник период, когда я себя чувствовала между двумя стульями. И чувствовала это скорее как нечто не очень приятное. В какой-то период — вы мне этот намек подкидывали — надо было в новое сообщество прийти, это же нечто невероятное. Для того чтобы научиться существовать в новом для себя профессиональном сообществе, нужно было много сил, нужно было попытаться доказать, что я что-то могу. А вот потом пришло ощущение, что не надо больше никому ничего доказывать. И доказывать вообще не надо. Надо делать так, как получается при полном напряжении и осознании сложности поставленных задач. Поэтому чего там больше — философского, филологического или чего-то другого, психологии или психоанализа, антропологии или теории перевода — совершенно не важно. В некотором размытом смысле это, конечно, поле философии и есть, и, слава богу, я в нем оказалась, но сказать «я философ» — нет. Не смогу.

С.П.: Но тем не менее, мы вас так определяем и представляем. Но что ж, возможно, это действительно не то слово, которое сам себе приписываешь.

Н.А.: Вот именно — сам не должен себе приписывать.

С.П.: Это уже что-то такое скорее оценочное получается.

Н.А.: Для меня — да. Потому что у меня не было профессионального образования как такового — то есть с первого курса до пятого, а было — по книгам, через людей или еще как-то, поэтому оно у меня не дипломное и не квалификационное, а скорее оценочное.

С.П.: Тогда можно сказать, что мы сегодня общались с ученым широкой квалификации или, по крайней мере, не односторонней и не одноаспектной квалификации.

Н.А.: Ну, может быть, да.

С.П.: Поэтому, видимо, так было интересно с вами общаться. Огромное вам спасибо за эту встречу.

Текст авторизован.